ЮНОСТЬ · 2016 · ЯНВАРЬ

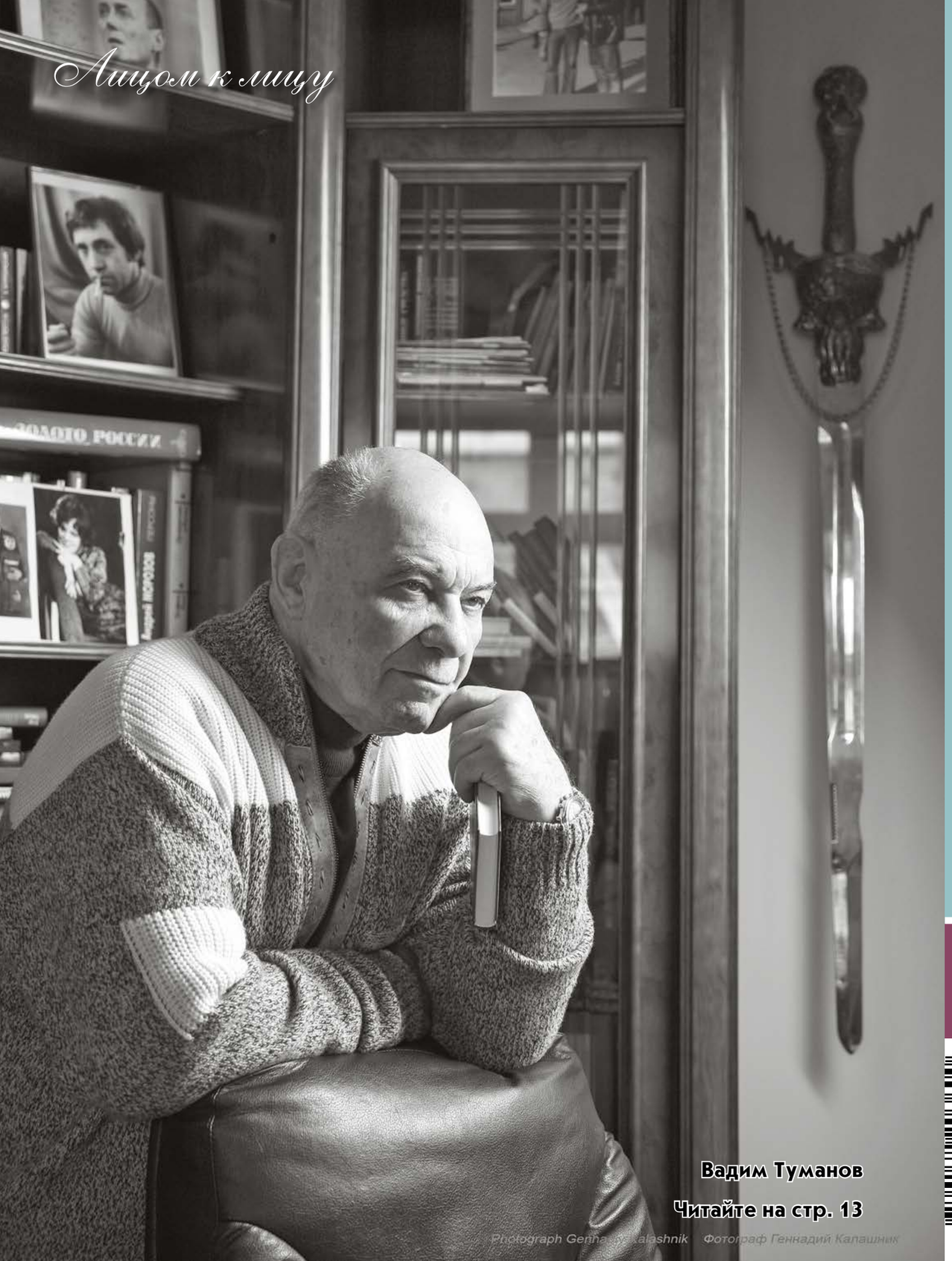
ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.

12+

№ 1 (720) 2016

Лицом к лицу



Вадим Туманов

Читайте на стр. 13

Photograph Gennady Kalashnik Фотограф Геннадий Калашник

Наше всё Новелла МАТВЕЕВА

Новелла Матвеева стала поэтом целого поколения. Именно своей лирической дерзостью и сюжетностью в небольшом и, казалось бы, бесхитростном стихотворении она сумела прорастить такие оттенки чувств и наблюдений, которые заставляли маленького человека видеть в этом способ постижения мира, да и самого себя. Таким прорывом в русской лирике мог похвастаться разве что Афанасий Фет, обсмеянный своими современниками. Над Новеллой Матвеевой не смеялись, а душа читателя — а потом и слушателя — не успевала даже осознать происходящих в ней волшебных превращений.

Новелла Матвеева первой вышла перед читателем с гитарой и стала петь свои стихи. Это подтвердил и Окуджава на одном из своих последних концертов. Да! Новелла Матвеева была самым первым поющим поэтом тех далеких шестидесятых и дала импульс целому художественному направлению. Ее «Баллада о гвозде» или «Какой большой ветер напал на наш остров» звучали в ту пору на каждой кухне.

В «Юности» стихи Новеллы Матвеевой появились впервые в десятом номере 1960 года. Первое о бобрах — почти басня:

В зоопарке в тесноватой клетке
Беззаботно жили два бобра,
Разгрызая ивовые ветки,
Мягкие, с отливом серебра...

Как давно писано, а ведь это же и о нашем обществе потребления с его презрением к труду! И в этих же стихах: «Как рабочих к лени приспособишь!» Приспособили! А матвеевский сонет «Лженоваторам» — просто приговор нынешним многотысячным интернет-писакам: «Сломали вы постройку старой формы / А новых форм не выстроили вы...»

Но мы с вами все-таки счастливы, дорогой читатель, потому что понимаем правоту и вечность смыслов великого поэта.

Почему же Новелла Матвеева поэт именно великий?

Да потому, что она доказала: лирика может перевернуть мир и сделать его счастливым!

- Людмила КЛОЧКО: «У меня по соседству идет война...»
- Близкий друг ВЫСОЦКОГО Вадим ТУМАНОВ — о юности, о стране и о... ВЫСОЦКОМ
- Лев АННИНСКИЙ об издателе Геннадии САПРОНОВЕ
- Эдвард РАДЗИНСКИЙ может применить санкции
- Валерий ЛОБАНОВ: «Кривобокий плывет пароходик...»
- Начинающий писатель Екатерина КОЗЛОВА — студентка 3-го курса Литературного института. Встречайте ее повесть!
- Кто такой Санта-Клаус
- Новый рассказ настоящего сихиртя Юрия БЛИНОВА
- Джеймс РАНСИМЕН (1852—1891) — английский писатель, автор серии очерков, рассказов и повестей о рыбаках Северного моря
- О книгах редких и особо ценных
- Можно ли снять кино молодому режиссеру в Год кино!
- В детективе жестокая комедия
- В зеленом портфеле три невеселых гуся
- Галка ГАЛКИНА: «На основании какого именно хронотопа и турбуленции сделаны далеко идущие выводы о сползании страны в кромешную тьму?!»
- Проказник ГЕО: «А все подумали, что у него, мол, стиль такой, своеобычный. А он и лыка не вяжет».

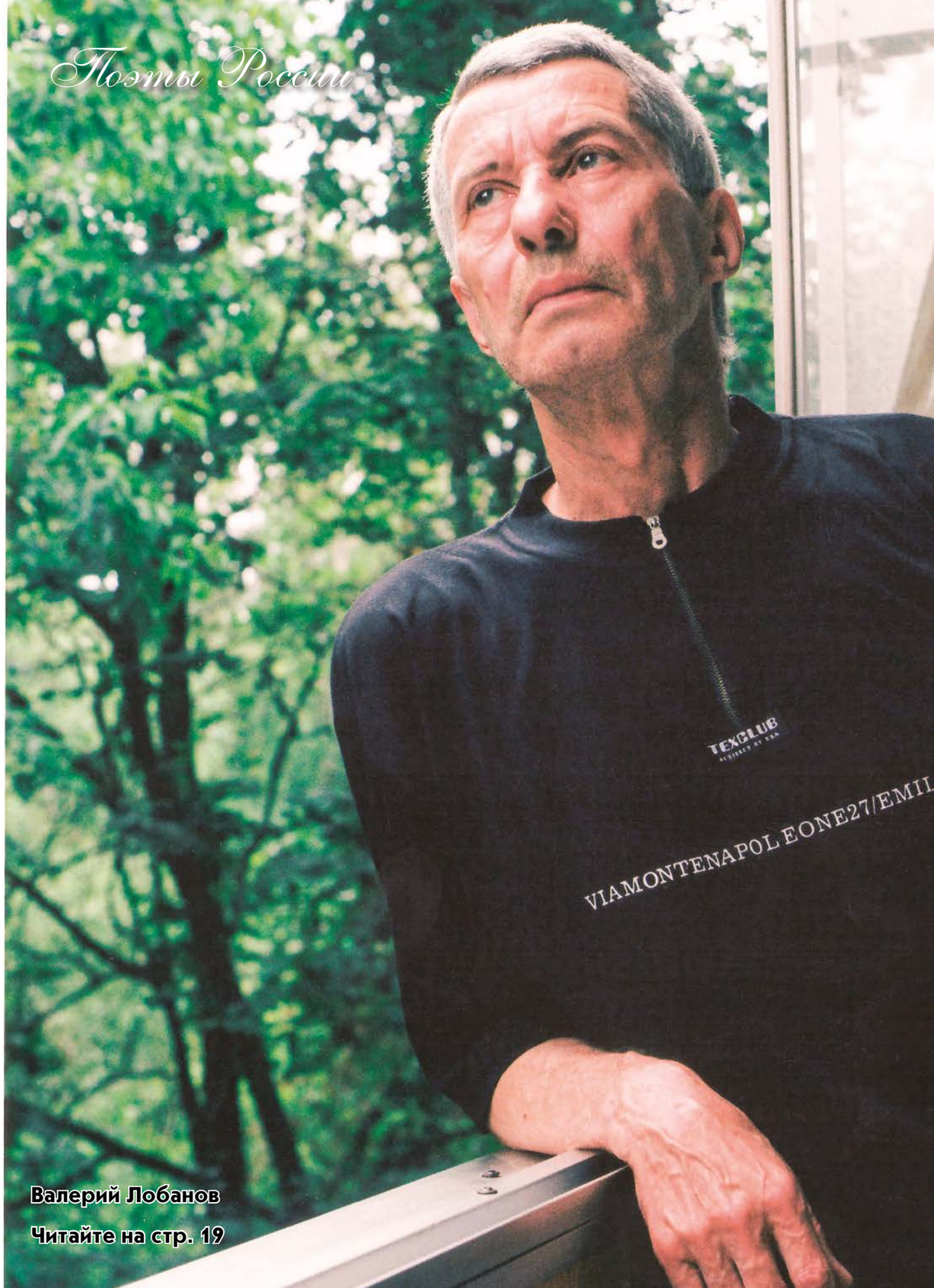
9 770132 203600

Поэты Белоруссии

Людмила Клочко

Читайте на стр. 5

Поэты России



Валерий Лобанов

Читайте на стр. 19

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№ 1 (720) 2016

«ЮНОСТЬ» © С. Красаускас. 1962 г.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: **unost-contact@mail.ru**
Наш сайт: **http://unost.org**
Страница на «Фейсбуке»:
https://www.facebook.com/unost

Главный редактор
Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Анна ГЕДЫМИН
Борис ЕВСЕЕВ
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Михаил ЗАДОРНОВ
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ
Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

заведующая отделом образования и молодежной политики
Славяна БАКУНИНА

главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ

заведующая отделом критики
Елена МАКСИМОВА

заведующая отделом культуры
Татьяна МАХОВА

заместитель главного редактора, заведующий отделами прозы и поэзии
Игорь МИХАЙЛОВ

заведующий отделом зарубежной литературы
Евгений НИКИТИН

консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ

директор по развитию, ответственный секретарь
Светлана ШИПИЦИНА

В номере:

Премии журнала «Юность» по итогам 2015 года 4

Поэзия

Людмила КЛОЧКО 5

Валерий ЛОБАНОВ 19

Проза

Екатерина КОЗЛОВА

ДВА ИМПЕРАТОРА Повесть 24

Сергей КОЗЛОВ

ПОЛУСТАНОК Повесть. Продолжение 39

Юрий БЛИНОВ

ЭКИЕ УМНИЦЫ Рассказ 62

Лицом к лицу

ВАДИМ ТУМАНОВ: «В ЮНОСТИ Я МЕЧТАЛ СТАТЬ КАПИТАНОМ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ, А МЕНЯ АРЕСТОВАЛИ И ОТПРАВИЛИ НА КОЛЫМУ» Беседу вели Константин Кушелев и Максим Коршунов 13

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА

2009. ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ИЗДАТЕЛЯ Продолжение 17

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

ИМПЕРАТРИЦА РОМАНОВА И КНЯЖНА ТАРАКАНОВА 18

Как беден наш язык!

КЛЮЧИ ЧТЕНИЯ

Марианна ГАЛИЕВА

ТЕМНЫЙ СЛОГ ПРЕМУДРОЙ ДЕВЫ ФЕВРОНИИ 37

Всякая всячина

Николай МИТРОФАНОВ

САНТА-КЛАУС — ФИГУРА ИСТОРИИ И ЧУДОДЕЙ 59

Инозелный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Джеймс РАНСИМЕН

РЫБАКИ СЕВЕРА 72

Помощник главного редактора
Анастасия ПОПОВА

Заведующий отделом информации
Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент
Екатерина КОРНЕЕНКОВА

Отдел юмора
Генрих ПАЛОЯН

Представитель в Санкт-Петербурге
Максим КОРШУНОВ

Редактор-корректор
Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление
Наталья ГОРЯЧЕНКОВА
Мария ПЯТЫХ

Фотокорреспондент
Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер
Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа
Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей
Ирина УШАКОВА

Интернет-версия
Максим ПОПОВ

Дежурные по редакции
Людмила ЛОГАЧЕВА
Татьяна СЕМЕНОВА
Татьяна ЧЕРЫГОВА

Координатор литературного объединения
Марина КУЛАКОВА

Администратор
Зинаида ПОТАПОВА

Книжный развал

ТЕРНОВСКИЙ — ЕГО ВЕНЕЦ
О Собрании сочинений А. Терновского 75

МИР ИДЕТ К НОВОМУ МАТРИАРХАТУ?
О книге Дж. С. Вирека «Обнаженная в зеркале» 76

«НИГДЕ И НИКОГДА МЫ ТАК НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ...»
О книге И. Волосюка «Под страхом жизни» 79

БЕРЕГА РАССТАВАНИЯ
О книге А. Орлова «Кравотынь» 81

Город кино

Михаил ФИЛИППОВ
СТО РУБЛЕЙ НОВЫМИ ДЕНЬГАМИ 83

Творческий конкурс

Марина ЗАВЬЯЛОВА г. Москва 86
Елена КЛИМОВА Истринский район Подмосковья 87
Александр ШЕМЕТОВ Крым 89
Валентин БАЮКАНСКИЙ г. Липецк – г. Москва 92
Инна АЛЕКСАНДРОВА г. Москва 97

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Евгений РЫК
ШПИОН И ГРАЖДАНИН Роман-расследование. Продолжение 102

В конце концов

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Станислав ТАРАСОВ
ТРИ НЕВЕСЕЛЫХ ГУСЯ 109

В конце концов

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА
РАПОПОРТ ВЫПОРОТ! 110

Окололитературная критика

Проказник ГЕО
СТОПОЧКА НЕ В ТО ГОРЛО ПОШЛА 111

Лиц. Минпечати № 112.
Адрес редакции:
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, стр. 1.
Для почтовых отправлений:
125047, Москва, а/я 182, «Юность».
Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**
+7 (499) 250-83-98,
+7 (499) 250-40-72,
тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за достоверность предоставленных материалов. Мнения автора и редакции могут не совпадать. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр «Наука» РАН», ОП ПИК «ВИНИТИ»–«Наука»
140014, Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр., 403
Тел. +7 (495) 554-21-86
Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8
Заказ №

Номинация «Проза»

Премию имени Валентина Катаева получают:

Станислав АСЕЕВ за роман-автобиографию «Мельхиоровый слон, или Человек, который думал» в № 1—6

Юлия БОДНАРЮК за роман «Вираж» в № 7—9

Борис ЕВСЕЕВ за повесть «Офирский скворец» в № 1—3

Номинация «Поэзия»

Премию имени Анны Ахматовой получают:

Наталия ЕЛИЗАРОВА за подборку стихотворений в № 12

Инна КАБЫШ за подборку стихотворений в № 10

Иван КОНОВАЛОВ за подборку стихотворений в № 7

Номинация «Публицистика»

Премию имени Бориса Полевого получает

Петр ПУСТОВАЛОВ за очерк «Мы все за слово русское в ответе» в № 12

Номинация «Критика, литературоведение»

Премию имени Владимира Лакшина получает

Алла МАРЧЕНКО за очерк «Что другой на свете не умел» в № 12

Мы также благодарим Тамару АЛЕКСЕЕВУ из Липецка за сбережение сказочного сюжета в литературном пространстве и выделяем ее публикацию в разделе «Творческий конкурс» — особенно!

Людмила КЛОЧКО

Людмила Клочко — член Союза писателей Беларуси. Произведения публиковались в журналах «Неман», «Новая Немига литературная», «Южное сияние», «Мегалит», «Наш современник», «Идель», «Нева», «Белая вежа», «Зарубежные записки».

Автор книги стихов «На пару слов» (серия «Минские молодые голоса»).

Лауреат республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение 2013 года» в номинации «Поэзия» за книгу стихов «На пару слов…».

Дважды лауреат Межвузовского литературного форума имени Н. С. Гумилева «Осиянное слово» (Переделкино, Москва, 2013, 2014).

Лауреат X Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (Москва, 2014).

Лауреат второго областного литературного конкурса «За далью — даль», посвященного А. Т. Твардовскому, в номинации «Дебют» (Калининград — Черняховск).

В 2015 году — единственный автор из Беларуси, вошедший в лонг-лист конкурса «Русская премия».

Как укусить за хвост собственную мысль

Поэзия — это возможность. Возможность найти то, чего нет. Укусить за хвост собственную мысль — и понять ее вкус.

Поэзия ни в чем не нуждается в этом материальном мире. Поэзия не существует физически, и в этом ее загадка и разгадка.

Поэзия — это другое измерение, которое нечем измерить.

Поэзия — это то, чего нет, хотя она есть. Поэзия — это не черные буквы на белом листе. Поэзия — это не колебания воздуха. Это не воздух. Это пятая стихия. Орган ее восприятия так и не обнаружен на человеческом теле. Поэзию чувствуют сразу — душой…

Людмила Клочко

* * *

У меня по соседству идет война.
У меня за стеной сапоги идут.
Я в незапертой комнате. Я одна.
Чтобы крики выслушивать там и тут...

И откуда я знаю, кто прав, кто нет,
Кто там — в доме хозяин и кто пришел...
Вот и я допоздна не включаю свет,
Потому что мне тоже нехорошо...

Только я ни при чем... Не на мне вина...
Кто-то стал у двери и чего-то ждет...
У меня по соседству идет война.
И куда? И куда же она придет?..

* * *

В Москве на Киевском вокзале
Цыган мои часы чинил.
Мне завтра вечером сказали,
Что время не разъест чернил...

И я ждала в вагоне узком,
Что поезд тронется сейчас.
Мне проводница не на русском
Ответила, который час.

А в Минске циферблат на башне
Для точности и просто так.
Приходит завтра день вчерашний...
Чух-чух, чух-чух... Тик-так, тик-так...

* * *

Юность моя — волчица...
Скалится или мчится.
Что с ней еще случится?
Что на нее найдет?

Юность моя — Жар-птица...
Вспыхнет — и не боится...
Юность моя — Царица!
Юность себя найдет.

Юность — порог и берег...
Что за тяжелой дверью?

Что за песчаной мелью?
Юность — пытливый взгляд.

Юность в такое верит!
Юность такое мелет!
Юность моя — потеря:
Найденный мой талант!

Юность моя — цыганка
В платьице наизнанку.
Жизнь ей — кутеж и пьянка.
Топнет босой ногой!

Все в ней — нарыв и ранка.
Юность моя — беглянка...
Выглянет спозаранку —
И не вернуть домой.

Юность моя — заноза!
Юность — шипы. Не роза.
Юность — подтекст и проза.
Юность моя — июнь!

Спрыгнет, как баба с воза.
С юности мало спросу.
Кажется, нет ей сносу!
Пальцем не тронь — латунь!

Юность моя — старуха.
Тянет глухое ухо.
Как на исходе духа —
Слишком еще дыша...

Юность бела от пуха.
Юность моя — разруха
В теле, где сердцу глухо...
Юность — моя душа...

* * *

Убывала луна. Наполнялись перроны.
И под этот шумок уходила весна.
Хлеб единый делили скворцы и вороны.
И казалось, что жизнь нам дана неспроста.

Так рябило в глазах от росы и сирени...
Полусон. Полутень. Синева. Синева!
Приходили слова чьих-то стихотворений.
Да и просто ничьи приходили слова.

Снова птицы нашли прошлогодние гнезда.
Где-то маму зовут не мои сыновья.
Все куда-то идет. Так разумно и просто —
Ничего не сказав, не спугнуть соловья.

И лежать на траве, в ожидании лета.
Даже лучшую жизнь отложив на потом...
Только поезд ушел. Только песенка спета.
Да и я, как всегда, говорю не о том...

* * *

Можно книгу читать как книгу.
Можно книгу читать как жизнь.
Я любую свою интригу
Перечитываю... Ложись

На колени виском — и слушай!
Никакого не хватит дня...
Так меня исходили уши —
И выслушивали меня!

Там, под кожей, другие звуки
Глушат все, что пришло извне...
Так меня исходили руки —
И выискивали во мне

То, чего бы не смог расслышать
Самый чуткий природный слух...
Чтобы выжить во мне — и выжать
Из меня мимолетный дух...

Чтобы выманить жизнь наружу!
Рассмотреть ее — и понять...
Так мою исходили душу —
И исхаживают опять...

* * *

Бог во многом сознательно строг...
Только были бы замыслы добрыми!
От моих то ли рук, то ли строк
У кого-то забьется под ребрами...

У кого-нибудь там, за спиной,
Запушистится, выбьется белое!
Чем ни жизнь наколдована мной?
Что еще я такого наделала?

Я добавлю живого — к уму!
Что-то чудится мне! Что-то слышится!
Дайте Демону волю и тьму —
Он такими стихами испишется!

А потом, расшибаясь душой
(Может — зря!), но я все-таки думаю:
Этот мир — пусть не самый большой! —
Но вмещает меня. Или ту мою

Наибольшую, зримую часть...
Остальное вмещать в него поздно... Но
Смотрит Бог на меня, горячась,
Что хоть что-то во мне им не познано!

* * *

Новый день придет или новый год.
В новый дом приду или в мой придут.
И окажется — все наоборот.
Если я живу, то живу не тут.

Да еще вокруг ни зари, ни тьмы,
Ни луны — в окно, ни звезды — в зенит...
Что же не болят ноги без ходьбы,
Если без стихов голова болит?

Или целый день — крик и толкотня,
Чтобы не судить жизнь со стороны.
Может быть, теперь, на исходе дня,
Станет все равно. Станут все равны.

Стану я собой. Взгляд из-подо лба.
В старых сапогах — и на чистый стол.
Говорят, кого выберет судьба,
У того в глазах — холод и простор...

Все, что я могу сделать наугад,
Это попросить жизни без обид.
Все же мир во мне — черен и богат.
Все же мир извне — беден и рябит.

Хорошо еще, что душа слаба,
Чтобы всю себя знать наверняка.
Если я пишу точные слова,
Значит, у меня дернулась рука.

И в конце концов, все, что я смогла —
Это я сама. И само собой,

В кулаке моем — тишина и мгла.
В голове моей — шепот и прибой.

* * *

Декабрь. Дождь. Ночные разговоры.
Декабрь. Снег. Ночная тишина.
Почти бесповоротность, без которой
Вся жизнь моя чего-то лишена.

И лишь она, вся жизнь, от первой гласной,
От первого молочного клыка —
Не видится. И видится — неясно.
И как смотреть в нее издалека

И не любить — за эту безответность
И безответственность всего, и вся, и всех...
За то, как дождь вымарывает бледность...
За то, как черноту марает снег...

* * *

Мне бы — маленький дом...
Мне бы — большой мир...
Мне бы — тебя в нем.
Чтобы не дуло из дыр

Памяти — взашей.
Мне бы — руки шелк.
Душу мне зашей!
Порванный мешок...

Вместо любви одной
Мне бы — хоть одну страсть!
Мне бы — побыть собой.
Мне бы — над собой власть...

* * *

Я ли такого ждала и просила?
Мысли! Зачем верещать?
Мне не дана запредельная сила:
Сила — тебя не прощать.

Не заживает особая рана —
Третий слезящийся глаз...
Мне говорить — не по возрасту рано.
Может быть, это как раз —

Самое время и в самую пору...
Нечего будет вернуть.
Я не философ, но мне бы — опору!
Можно ли перевернуть

То, где ни низа, ни верха, ни края?
И невозможен предел...
Дышит — предчувствуя! Дышит — сгорая!
В недрах сознаний и тел —

Связь наша. Сшита легко и кроваво —
Тянет удушливо нить...
Мне не дано безупречное право:
Право — тебя не винить...

* * *

Есть ли там губы? Есть ли там губы?
Черная борода...
Нас разделили шпалы и трубы —
Разные города...

Тянутся нити вдоль небосвода —
Связывают столбы.
Есть ли там кто-то? Есть ли там кто-то?
Рвется ли из толпы —

Следом за мною! Чтобы согреться...
Миленький, погоди!
Есть ли там сердце? Есть ли там сердце?
В этой мужской груди...

* * *

Что-то было вчера,
Что уже никогда не вернется...
Я люблю вечера.
Я смотрю в них, как в омут колодца...

Мне их пить — не допить.
И всю жизнь я глотаю быстрее.
Поторопимся жить!
Может быть, мы хоть что-то успеем...

Если завтра проснусь,
То опять заживу без оглядки
И без меры... И пусть
Все идет в безобразном порядке!

Только мне поделом!
За мои ожиданья и вкусы...
Я права лишь в одном:
Из людей вышли яркие бусы.

Завязалась узлом
На житейской потрепанной нити.
Мне не часто везло
В череде безутешных событий.

А теперь за душой Ни души, ни стыда, ни смятенья...
Это самый большой
Сувенир к моему дню рожденья!

Я уже начала
Забывать, где начало отсчета...
Я люблю вечера —
В них забытые сводятся счеты...

Неужели уже
Не случится ни счастье, ни горе?
Я стою в неглиже
И в себя окунаюсь, как в море!

Я б забросила все!
Я б взяла передышку на лето!
Пусть меня унесет
Южный ветер — и выбросит где-то...

Может быть, я потом
Не вернусь, как того и хотела...
И забуду о том,
Что во мне не имеет предела...

Вадим Туманов: «В юности я мечтал стать капитаном дальнего плавания, а меня арестовали и отправили на Колыму»

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! Как и обещали в заключительном номере прошлого года, мы пригласили на наши страницы человека удивительной судьбы. Легендарного! У нас в гостях Вадим Иванович Туманов. Слово нашим петербургским корреспондентам.

Мы познакомились с необычным человеком, свидетелем советской истории, оставившим в ней и свой значительный след. Ему посвящены стихи, песни, фильмы. Его окружают известные деятели искусства, науки, бизнеса, спорта. Особые, близкие отношения связывали его с Владимиром Семеновичем Высоцким. Наш герой — создатель уникальных для своего времени методов золотодобычи и золотодобывающих артелей — Вадим Иванович Туманов. Его артели за 30 лет работы добыли 500 тонн золота!

Но главное не в золоте: люди, на протяжении этих лет работавшие в его артелях, тысячи людей, вспоминают время работы у Туманова как лучшее в своей жизни. В этом признавались многие. Уникальный советский новатор, талантливый российский бизнесмен, человек с государственным мышлением — таким он станет не сразу, а золотое время юности безвозвратно пройдет в холодных забоях и бараках колымских лагерей. Осужденный в возрасте 21 года по статье 58, он будет освобожден через восемь лет досрочно и спустя много лет напишет книгу с жизнеутверждающим названием «Все потерять — и вновь начать с мечты...».

Мы были рады возможности вот так просто посидеть в гостях у этого человека, без традиционного в таких случаях журналистского диктофона, поговорить с ним о жизни, послушать его мудрые слова, просто попить с ним чаю, а еще попытаться понять: как?! Как человек остался человеком в страшном аду лагерей, сохранил доброту, совесть, достоинство?

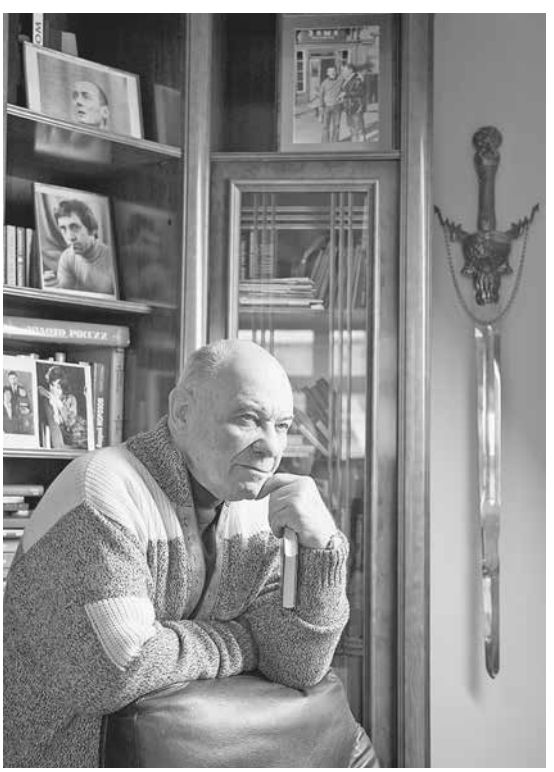
О КНИГЕ

— Ребята, вы мою книгу-то читали? — спрашивал Вадим Иванович.

Мы читали, но, как говорится, на бегу, когда готовились к нашей встрече. А книга удивительная, без преувеличений, притом что написана она человеком, не имевшим ранее писательского опыта. В этой книге есть все: романтическая линия, драма, боевик, криминальный детектив, живой человеческий юмор, секреты успешного менеджмента, размышления о настоящем и будущем нашей страны. Сюжет увлекателен настолько, что кажется, будто читаешь не мемуары, а приключенческий роман. К сожалению, в наши дни таким книгам уделяется мало внимания, и они выходят небольшими тиражами. Сейчас мы перечитываем ее без суеты, словно перелистывая страницы жизни Вадима Туманова.

О ЮНОСТИ

— Мне вспоминаются строчки моего товарища лагерного поэта Петра Дьякова, написанные будто бы обо мне: «А юность обещала мне так много, но я отдался целиком судьбе...» В юности я мечтал стать капитаном дальнего плавания и даже начал воплощать свои мечты в реальность. Служа на флоте, стал штурманом, успел побывать в нескольких странах, но судьба распорядилась иначе. Меня арестовали по нелепому, несправедливому обвинению и отправили на Колыму. Срок уже там вырос до 25 лет. Это все равно что пожизненно! Своим досрочным освобождением я был обязан работе — наша бригада считалась лучшей в Дальстрое — и людям, поверившим в меня. Их было немало, и среди них — воевавший когда-то на фронте начальник лагеря Ф. М. Боровик. Очень важно, когда в твоей жизни оказываются люди, которые не добивают, имея все возможности, а, напротив, помогают выкарабкаться, протягивают руку. Я помню случай из детства: мы вышли из школы, и завязалась драка с одним парнем, который был старше меня. На улице зима, гололед, а я в скользких ботинках. Только хочу нанести удар — падаю, поскользнувшись. Потом снова падаю, и так несколько раз. Уже сто раз пожалел, что ввязался, но делать нечего. И вот этот парень помогает мне подняться и говорит: «Ладно, летом додеремся».



О СТРАНЕ

В 1995 году, в разгар становления рынка и перехода к демократии, Вадим Туманов направил письмо Президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину, в котором изложил свое видение развития экономики, сферы производства. «Как случилось, что месторождения, разведанные в 70–80-е годы на деньги налогоплательщиков, оказались предметом спекуляции игроков в ценные бумаги в 90-е?» — задавался вопрос в этом письме. Предлагались конкретные действенные меры по укреплению добывающей отрасли.

— Ответа на это письмо из президентского аппарата так и не последовало. А сегодня мы вынуждены возвращаться к этим ключевым для жизни страны вопросам в виде импортозамещения, создания реальной, несырьевой экономики... Что изменилось за это время и как случилось, что до сих пор мы не смогли решить важнейших, основополагающих задач жизнеобеспечения нашего государства?!

Россия — богатейшая страна, которая может и должна жить по-другому. Посмотрите, какой мощной техникой и механизмами располагает сегодня мир: современные машины, я имею в виду землеройную, строительную, дорожную технику, горное оборудование, позволяют увеличить производительность в 4–5 раз! При этом у нас огромное количество природных ресурсов и талантливых людей. Хочется многим чиновникам задать вопрос: что же вы делаете?! Мы десятилетия потратили там, где могли обойтись несколькими годами. Например, пресловутая перестройка могла быть пройдена за 4–5 лет и с совершенно другими результатами экономического подъема, учитывая наш огромный потенциал.

О ВЫСОЦКОМ

— Как друзья мы могли сказать друг другу правду как она есть. В дружбе это очень ценное качество. Не так давно мне позвонили и спросили, как я отношусь к тому, что в Москве появится улица имени Высоцкого и какую улицу было бы правильно переименовать (к моменту публикации улица Высоцкого уже появилась в Москве. — *Прим. авт.*). Я ответил, что если и переименовывать, то улицу, которая ведет к театру.

С Вадимом Тумановым беседовали
Константин Кушелев и Максим Коршунов

Владимир Высоцкий

Вадиму Туманову

В младенчестве нас матери пугали,
Суля за ослушание Сибирь, грозя рукой.
Они в сердцах бранились — и едва ли
Желали детям участи такой.

А мы пошли за так, за четвертак, за ради Бога —
В обход и напролом, и просто пылью по лучу.
К каким порогам приведет дорога?
В какую пропасть напоследок прокричу?

Мы север свой отыщем без компаса —
Угрозы матерей мы зазубрили как завет,
И ветер дул, с костей сдувая мясо
И радуя прохладою скелет.

Мольбы и стоны здесь не выживают —
Хватает и уносит их поземка и метель,
Слова и слезы на ветру смерзают,
Лишь брань и пули настигают цель.

И мы пошли за так на четвертак, за ради Бога —
В обход и напролом, и просто пылью по лучу.
К каким порогам приведет дорога?
В какую пропасть напоследок прокричу?

Про все писать — не выдержит бумага,
Все в прошлом, ну а прошлое — былье и трын-трава!
Не раз нам кости перемыла драга —
В нас, значит, было золото, братва!

Но чуден звон души моей помина,
И белый день белей, и ночь черней, и суше снег,
И мерзлота надежней формалина
Мой труп на память схоронит навек.

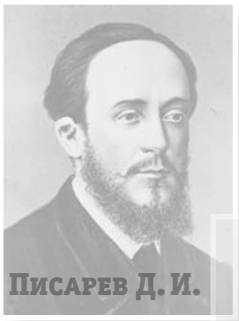
А мы пошли за так на четвертак, за ради Бога —
В обход и напролом, и просто пылью по лучу...
К каким порогам приведет дорога?
В какую пропасть напоследок прокричу?

Я на воспоминания не падок,
Но если занесла судьба — гляди и не тужи:
Мы здесь подохли — вон он, тот распадок,
Нас выгребли бульдозеров ножи.

Здесь мы прошли за так на четвертак, за ради Бога —
В обход и напролом, и просто пылью по лучу.
К таким порогам привела дорога...
В какую ж пропасть напоследок прокричу?..

1977

Страницы Льва Аннинского


Писарев Д. И.

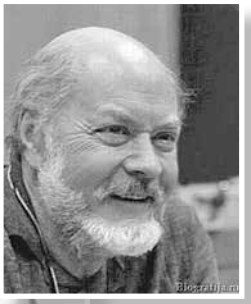
Говоруха-Отрок Ю. Н.

Мережковский Д. С.

Огарев Н. П.

Соловьев В. С.

Аннинский Л. А.



Панаев И. И.

Белый А.

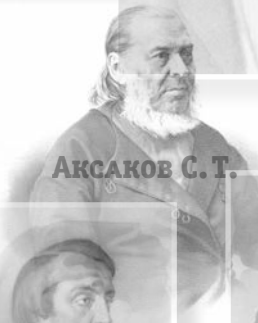
Страхов Н. Н.

Михайловский Н. П.

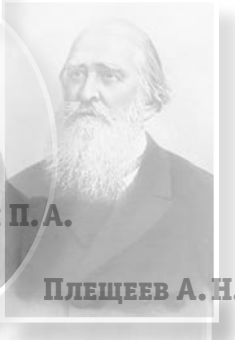
Станкевич Н. В.

Анненков П. В.

Шелгунов Н. В.

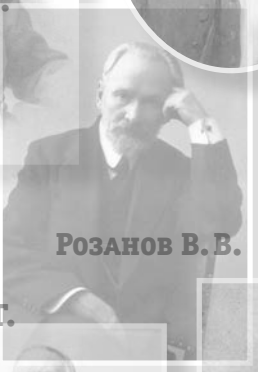

Аксаков С. Т.

Вяземский П. А.


Плещеев А. Н.

Антонович М. А.

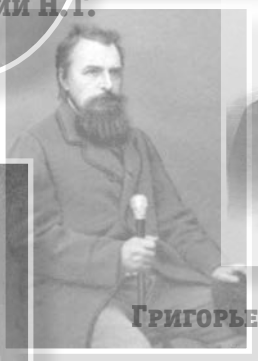
Белинский В. Г.


Розанов В. В.

Герцен А. И.

Чернышевский Н. Г.

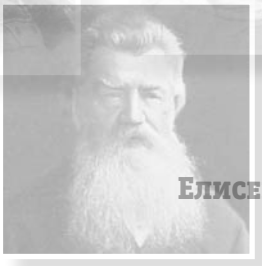
Добролюбов Н. А.

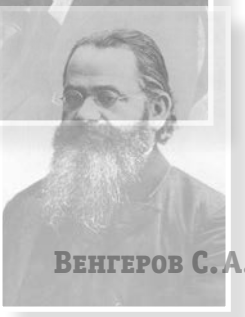

Григорьев А. А.

Дружинин А. В.

Шевырев С. П.

Батюшков Ф. Д.


Елисеев Г. З.


Венгеров С. А.

Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год, в № 1–12 за 2015 год

2009. Памяти Великого Издателя

Потрясен смертью Геннадия Сапронова. Природа не должна была так поступить с ним, ибо природой же он был так создан, так оснащен энергетически, душевно и интеллектуально, так задуман и выполнен, что природа просто обязана была даровать ему долголетие.

Когда в 2002 году я с ним познакомился (он брал у меня интервью в рамках Байкальских поэтических встреч), я заметил полное отсутствие у него журналистского нахрапа и показной хватки, зато почувствовал скрытую тяжесть его раздумий и чувств.

Когда мы познакомились поближе (во время нашей поездки по Сибири с презентациями моей книги), я оценил образ его действий: зарабатывать на дверях, замках и прочих железяках и вкладывать все заработанное в увековечение слов.

Когда на изданных им книгах стала привычной марка «Издатель Сапронов» и обнаружился в ней пифагорейский секрет (число букв в том и этом словах равное), я понял, что судьба дала ему исполнить назначение: он стал одним из лучших издателей в истории России.

Спасибо судьбе за то, что она дала ему сделать.

Зачем она так рано забрала его от нас?

Продолжение следует.

Императрица Романова и княжна Тараканова

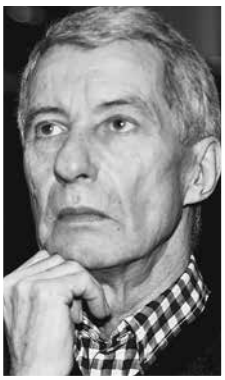
Эдвард Радзинский, поднаторевший на изучении биографий российских деятелей прошлых эпох, воспроизводит известный сюжет о появлении очередной самозванки, именем то ли Августы, то ли Елизаветы, а более известной под титлом княжны Таракановой, избежавшей высочайшей расправы и упокоившейся во инокинях под именем Досифеи.

Действо называется «Театр императрицы» и концентрируется большею частью в царских покоях, по углам которых режиссер Малого театра Владимир Драгунов расставляет верных слуг государыни; сюжет довольно запутан, у кого там любовь, у кого расчет — не вдруг разберешь, но держит зрителя — в исполнении Татьяны Лебедевой и Лидии Милюзиной — диалог двух героинь, состязающихся то в провокационном хитроумии, то в бессильном человеколюбии, а хлеще всего — в определении смысла жизни.

Например: нам, русским, хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты. Или: у нас взятки берут и на плахе. Или: у нас дурацкие указы никогда не отменяются, они тихо не исполняются.

Апофеоз такой: надо использовать на благо России победу над турками, но при этом не разозлить западных соседей, которые применят… что бы вы думали? Санкции…

Взрыв смеха в зрительном зале при слове «санкции» воспринимается на фоне украинского кризиса как наш ответ тем, кто собирается учить нас жить.



Валерий ЛОБАНОВ

О себе

Я, Валерий Лобанов, родился в Иванове за год до Победы. Детство и юность прошли в селе Ильинском-Хованском, где жила и работала врачом моя мать.

Учился в сельской школе. В пятом классе открыл большую русскую поэзию, прочитав томик стихов Сергея Есенина, вышедший после длительного перерыва. Книга была не моя, начал переписывать ее в большую общую тетрадь. Переписал много...

Поступил в Ивановский мединститут, где в 1963 году в институтской газете «Медвузовец» случилась моя первая поэтическая публикация.

Всю дальнейшую жизнь работал врачом, читал стихи и писал стихи. Первая публикация в центральной прессе была в журнале «Сельская молодежь» за 1982 год с добрым напутственным словом замечательного поэта Анатолия Жигулина.

Потом стихи печатались в «Литературной газете», «Новой газете», «Независимой газете», в альманахах «День поэзии», «Предлог», «Илья», в журналах «Арион», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Истина и жизнь», «Новый мир», «Фома».

Подборки стихов опубликованы в антологиях «Строфы века», «Русская поэзия. XXI век», «Лед и пламень», «Ты припомни, Россия, как все это было!», «Жанры и строфы современной русской поэзии», «Лучшие стихи», в сборниках «Молодые поэты Москвы» (1983), «Московский год поэзии. 2011».

Вышло пять поэтических сборников (последний «Там, на родине...» в 2014 году).

Состою в Союзе российских писателей. Живу в городе Одинцово Московской области.

* * *

За них Бетховен, словно унтер,
Камиль Сен-Санс,
и Вермеер, и Мартин Лютер,
и Ренессанс.

За них и Гойя и Мурильо,
и весь Парнас...
И лишь Заступница Мария
стоит за нас.

Рай

Солнцем окрашен
дом среди вишен,
Мишин и Машин,
Машин и Мишин.

* * *

На весах не выверить
этой чепухи —
шиворот-навыворот
пишутся стихи.

Совершенно разные,
нарушая строй,
чистые и грязные,
в крапинку порой.

XVI век (реконструкция)

и сидит он
у великой реки
то ли Волга
то ли Дон
то ли Днепр
оглушительные сжав
кулаки
одинокий и смурной
яко вепрь

а характер у него
крут
ладно скроен он
лицом пригож
и железом его терем
крыт
и на царское крыльцо
вхож

попадает на крючок
язь
расступается стена
ржи
говорит она —
привет князь
каково переживать
лжи

хоть холодным валуном
стань
хоть кипящею водой
брызнь
так качается
ее стан
так кончается
его жизнь

Сыну

Кривобокий плывет пароходик.
Раб кирпичную кладку кладет.
Жизнь твоя незаметно проходит.
Разлюбила...
И это пройдет.

2008

При свече

Душа все время упиралась в быт.
То мне на книги денег не хватало,
то краны жгла коррозия металла,
то свадебный сервиз бывал разбит.

И то сказать: идеи — никакой,
социализм донашивал обноски,
и постовой стоял на перекрестке
и верный путь указывал рукой.

Потом свобода встала под венец,
и понеслось — трясло, рвало, качало
и века красно-белого конец,
и века двадцать первого начало.

Мир болен, и Вселенную знобит.
Моя звезда срывается с орбиты.
Светлов забыт, и Щипачев забыт,
но Смеляков и Слуцкий не забыты.

Рассвет

И снова осень, что беда.
Октябрь несносен.
— Куда уходите, года?
— В сиянье сосен!

Зачем глотать ядреный квас,
и стричься, бриться...
«Деревья, только ради вас...»,
как говорится.

Покуда очи не смежу
под ваши «лайки» —
я откровенно расскажу
всё, без утайки,

всё, что привидится в окне,
в холодной сини,
в просвете, в световом пятне
моей России.

* * *

Л. М.

всё на почве
всё на нервной
все печали — о простом
ты хорошая
наверно
в этом городе пустом

Песенка о летающей тарелке

Не «Жигули», не грелку,
не телефон-мобил —
летающую тарелку
за двадцать рублей купил.

Купил, из пакета вынул,
природа кругом шелестит,
на небо ее закинул,
и вправду, гляжу, летит.

Исполнись, мечта любая!
Победа — в бою любом!
Тарелочка голубая
в небе моем голубом!

И наледь на сердце тает,
и видится наяву —
пока она там летает
я еще поживу.

* * *

...И замирали в удивленьи
цветы в минувшем сентябре,
когда, в рассветном просветленьи,
ты запевала на заре.

Протягивала к Солнцу руки —
так дирижер взрывает хор!
В саду вибрировали звуки
и вырывались на простор.

Происходил концертик сольный,
сиял на голове венок.
Офелия! Фелица! Сольвейг!
Художник, девочка, щенок...

Откуда, милая, откуда,
такая песнь, такой зачин?
Зачем похожее на чудо
существование влачим?

Старая песня

Белой акацией дышится,
да, населенье смутив,
песня далекая слышится,
полузабытый мотив.

Чувства звучат изначальные,
те, что дороже всего —
песня про очи печальные
да про измену его.

Узкие, узкие, узкие
сроки твои и права.
Русские, русские, русские
мчатся над миром слова.

Вечер. Рябина качается,
девушка выгнула бровь...
Старая песня кончается
и начинается вновь.

Екатерина КОЗЛОВА

О себе

Родилась в 1995 году в Москве. Студентка 3-го курса Литературного института имени А. М. Горького (семинар прозы С. Н. Есина).

В литературе ценю искренность и внутреннее содержание. Это первая публикация.

Катя Козлова обладает не так часто встречающейся способностью видеть все в определенном масштабе. Там, где другие студенты-прозаики пишут рассказ, Катя изобретает повесть. Ее захватывают объем жизни, дополнительные связи, более подробные отношения героев. Но ведь, не правда ли, и жизнь состоит из подробностей! Те подробности отношений мальчишек в одном классе, которые предлагает Катя, мне кажутся увлекательными и существенными.

Сергей Есин, писатель, профессор Литинститута

Два императора

Повесть

Рисунок Настасьи Поповой

1.

31 августа, воскресенье

Лишь с самого утра. С чего бы это? А вчера вечером было так жарко и сухо, что город умирал от жажды. Деревья дрожат, пытаются согреться равномерным раскачиванием, но... не могут. От лета не осталось и следа, его прогнала осень. И у нее, видимо, спешат часы — она пришла на день раньше. Она совсем не похожа на меня. Я постоянно опаздываю. На месте осени я пришел бы где-то в январе.

Придется надевать куртку и брать зонт, хочу пойти купить себе новые наушники. По пути, не обращая внимания на дождь и мокрую, скользкую землю под ногами, перепрыгиваю нашу местную речушку Серпейку.

Привычка перепрыгивать через нее появилась еще в раннем детстве, когда мы с родителями ходили в парк. Когда мы подходили к этой речке, папа брал меня за правую руку, а мама — за левую, и они переправляли меня на другой берег, а потом перешагивали речушку сами. Один раз мама поскользнулась на берегу — и мы с ней полетели в речку. Было весело! Мама потом долго вычищала грязь из моих русых волос. Папа говорил, что теперь я самая настоящая хрюшка — он постоянно смеялся надо мной из-за того, что я родился в год Свиньи.

С тех пор, как у меня появилась сестра, а я пошел в школу, родители ходят в парк только с ней.

...Когда выхожу из магазина, мне путь вдруг преграждает какой-то брюнет. Парень плечистый, в глазах — «вечная мерзлота». Или хуже?

— Прикурить есть? — спрашивает он.

— Не курю. И тебе не советую, — сухо отвечаю я, пытаясь обойти неожиданную преграду на пути домой.

Да, как-то так получилось, что я не курю и не пью, у меня другие вредные привычки: вообще не делать домашнее задание и постоянно опаздывать.

— Ах, ты у нас самый умный значит, да? — неприятно улыбается парень и надвигается на меня.

— Да уж поумнее некоторых! — фыркаю я.

Пусть это безрассудно — говорить такое, ввязываться в потасовку без какой-либо видимой причины, но достоинство всегда для меня было превыше всего. А подраться я всегда готов.

Дело бы и закончилось рукопашной, но именно в этот момент из-за угла магазина выходит тетя Марина, наша соседка по подъезду.

— Здравствуй, Сашенька, внучек, — говорит она, приближаясь ко мне и, кажется, даже не замечая моего противника. — Ты домой?

— Да, — несколько теряюсь я.

— Тогда поможешь мне донести сумки из магазина, — бескомпромиссно объявляет соседка и впихивает мне в руки два тяжелых пакета, наполненных продуктами.

И так у тети Марины всегда. Не просьбы, нет. Приказы!

С тетей Мариной прощаюсь на первом этаже. Перед тем, как войти в свою квартиру, соседка пристально смотрит на меня и говорит:

— Ох, чую недоброе. Не по христианским заповедям он живет.

И захлопывает за собой дверь.

Первые несколько секунд я даже не могу понять, что она имела в виду. Вызываю лифт и тут только вспоминаю, что десять минут назад чуть было не подрался с каким-то парнем. Надо же! Я же забыл про него мгновенно, только увидев соседку. Наверное, таких личностей и не стоит помнить.

Странно, чего-то лифт долго не едет. Жду еще минуту, постепенно осознаю, что он сломался. Придется топать ножками до одиннадцатого этажа. Не такая уж и большая неприятность... Мне нравится этаж, на котором я живу. Для меня жить высоко лучше, чем жить низко.

Думаю о том, что завтра увижу своих друзей. Прежде всего Вадима. Я целое лето был на даче и не мог с ним встретиться. Мы подружились еще в детстве — ходили в один детский сад. Помню, как во время тихого часа он доставал из подушки перо, клал на пол, дул на него, и оно прилетало ко мне. Я тоже дул, и оно летело к нему. А когда мы поступили в первый класс, у нас появилась новая игра — «Коридор выживания». Пока другие первоклашки носились по коридору, перед нами стояла другая задача: быстро пересечь коридор поперек, ни с кем при этом не столкнувшись. Это было крайне сложно, особенно с учетом того, что другие дети носились по коридору, как угорелые. Один раз Вадим столкнулся с мальчиком покрупнее, упал на каменный пол и ударился головой. Это было сотрясение мозга. Я долго просил родителей отвести меня к нему больницу, но они, тяжелые на подъем, не хотели этого делать. В конце концов им пришлось согласиться, потому что я не давал им покоя. В травме друга я винил себя, потому что именно я придумал эту опасную игру.

...Небывалое дело — ложусь спать в двенадцать! Обычно я укладываюсь в час, а то и в два ночи. Наверное, это все из-за того, что перед первым учебным днем после каникул я обычно долго не могу уснуть.

Так происходит и в этот раз. После часа безуспешных попыток приманить сон плеер как-то сам пролезает в руку, и мне ничего не остается, кроме как начать слушать музыку. Через пятнадцать минут надоедает неподвижно лежать на кровати, я подхожу к окну и раскрываю его.

На меня тут же раздраженно обрушивается пронизывающий ветер. Закрываю окно и уже сквозь стекло смотрю наружу. Практически кожей чувствую, что становится все более и более холодно, и звезды, кажется, жмутся к Луне в надежде согреться.

Ложусь в кровать и неожиданно засыпаю под убаюкивающие звуки музыки.

1 сентября, понедельник

Холодно. Как же холодно! Опять одеяло уползло? Открываю глаза, приподнимаюсь, смотрю на пол. Да, правда! Оно уже отправилось в школу в этот первый учебный день... Как же хорошо, что мне пока не надо туда идти!

Зеваю, лениво поворачиваю голову в сторону тумбочки, на которой лежит мой сотовый телефон. Протягиваю руку, чтобы посмотреть время. Нам говорили, что линейка будет в 8:00...

На часах 8:30! Снова опоздал! Первого сентября! Когда учебный год только начался! Когда я так ждал встречи с друзьями, с которыми не виделся все лето!

Сонливость слетает мгновенно, и я быстро начинаю собираться, время от времени посматривая на часы. Как у всякого вечно опаздывающего человека, они, по моей, собственно, воле спешат на пять минут; эта неточность — моя своеобразная попытка предотвратить неминуемое опоздание.

Десять минут — и исчезаю из дома.

Вот она — школа! Толпа народа волнуется, зевает, спит, просыпается, держит в руках цветы, разговаривает... И я влетаю в эту толпу как в воду. Прорезаю насквозь, мечусь в попытке найти свой класс. Вокруг снуют туда-сюда люди, сливаются в монотонный гул голоса, и ухо может выхватить из общего гвалта лишь отдельные фразы. Выбирать свое направление движения практически невозможно — течение толпы неизменно относит в сторону от места, к которому собирался прийти. При этом заранее не угадаешь, в какую именно сторону толпа тебя отнесет. В ней, как в океане, множество течений. Но... сейчас я больше в течении своих мыслей, нежели в течении толпы.

Вдруг в окружении множества макушек я вижу особую, примечательную, знакомую. А рядом с ней еще одну. Стоп! А *он* что здесь делает?!

Рядом с Вадимом стоит тот парень, что просил у меня прикурить вчера днем. Откуда он здесь? Неужели теперь ВОТ ЭТО учится в моем классе? Хотя... Чего удивляться? В этой жизни может быть все. Мне ли этого не знать?

Да пусть он даже теперь и мой одноклассник, поразительно другое — мой лучший друг и мой (хочется сказать «худший») враг оживленно разговаривают и смеются! Почему «худший» враг? Потому, что других у меня нет — я сам себе никогда врагов не нахожу. Да и они раньше как-то не находили меня.

Иду к своему классу уже с меньшим энтузиазмом. Ребята замечают меня, здороваются; некоторые жмут руку.

— А, это ты, придурок! — хмыкает недруг, когда я случайно поворачиваюсь к нему.

Одноклассники смеются, хоть и не понимают, в чем дело. Самое обидное, что смеются и приятели: Васек, Петька, Гришка и лучший друг Вадим. Становится больно.

— Радий, — представляется он и протягивает мне руку. — Ты не обижайся, это я так шучу.

Удивляюсь. Радий? Ну и имя... В сознании быстро всплывает мысль о химическом элементе, но она тут же исчезает, как только я слышу о том, что парень оскорбил меня не со зла. Может быть, это правда, и больше не будет никакой агрессии и никакой ненависти?

Протягиваю руку в ответ, и он сжимает ее очень сильно, чувствую что-то между нашими ладонями... Вдруг раздается глухой треск, и меня ударяет током. Вскрикиваю от неожиданности, пытаюсь отдернуть руку, но Радий вцепился в нее мертвой хваткой и держит настолько крепко, что я не могу вырваться. Ток от электрошокера поступает в мое тело, в глазах мутнеет, я сильно тяну руку к себе, и она, наконец, выскальзывает из «дружеского рукопожатия».

Класс застывает в изумленном молчании.

Первые несколько секунд я хочу ударить парня. Сильно сжимаю кулаки и с ненавистью смотрю в карие глаза, в которых нет ничего, кроме злостной усмешки. Пытаюсь успокоиться, представить, что я сейчас не здесь, не в этой невыносимой ситуации...

Неожиданно он поворачивается ко мне спиной и продолжает разговор с моим лучшим другом как ни в чем не бывало. Меткая шутка быстро разряжает обстановку.

Почему-то вскоре о «дружеском рукопожатии» все словно забывают и весело смеются, когда Радий рассказывает им очередную забавную историю. Только друг иногда посматривает на меня.

Я стою в стороне и молчу. В душе и ненависть к Радию, и злость на одноклассников за то, что они приняли его в компанию, и обида на друга — он там общается с... этим. Вот он, Вадим, стоит рядом. Вот его кудрявые каштановые волосы, вот курносый нос, вот голубые глаза. Но одновременно его нет рядом. Он где-то там, далеко, будто в другой вселенной.

Скоро нас перестают держать на улице. Видно, мы, как холодец, уже готовы и нас можно подавать к столу — впускать в школу. Там нас и съедят.

На традиционном классном часу, который занимает два урока, я сижу один — Вадим занял место рядом с Радием. В начале урока учительница представляет нам новичка,

— Итак, в нашем классе новый ученик, — улыбается она. — Встань, пожалуйста, — прибавляет учительница чуть тише, смотря на моего нового врага.

Парень поднимается с места, осматривает всех в классе, делает вид, что таким образом знакомится.

— Его зовут Радий Резерфордьев. Надеюсь, вы с ним подружитесь.

Я хмыкаю — конечно, подружимся! Уже подружились!

Всю оставшуюся часть классного часа я думаю о своем, почти не вслушиваясь в то, что

говорит учительница. Выхватываю только отдельные фразы, да и то как-то не слишком нужные мне.

Учительница просит тишины, но мальчики продолжают болтать, а девочки — хихикать. Всем интересно поделиться друг с другом, как они провели лето. Все хотят утолить жажду общения со старыми друзьями. Я чувствую себя изгоем.

После классного часа еще два урока. На них я сижу с Вадимом. Мы не разговариваем и однозначно не вникаем в то, что рассказывает учитель. Сидим с одинаковым задумчивым видом... О чем думает он? О том ли случае с Радием? Не знаю. Но очевидно одно: рядом со мной сидит человек, с которым я не общался три месяца, с которым я хотел поговорить все это время, но я молчу. Ужасно хочется что-нибудь сказать, но сказать решительно нечего.

Из школы мы как всегда идем вместе, нам в одну сторону. Вадим наконец нарушает молчание:

— Сань, чего такой кислый? — вдруг обманчиво-весело говорит друг и хлопает меня по плечу.

Вадим... Он такой всегда: непосредственный, веселый, общительный.

— Испортился, — выдыхаю я.

— Что? — сначала не понимает Вадим.

— Испортился, — нейтрально повторяю я.

— М-м-м... Ты тот еще фрукт!

Позволяю себе легкую улыбку.

— Тогда ты овощ! — нахожу в себе силы пошутить я.

— Только не говори, что я редиска, — хмыкает друг.

— Ты... ты... бешеный огурец.

Когда мы расходимся, мое настроение уже приобретает светлый оттенок. Потому что Вадим — друг. Лучший друг.

2 сентября, вторник

Я всегда забываю поменять тот противный сигнал, который будит меня по утрам. Хотя время от времени я задумываюсь: есть ли в этом смысл? Любая мелодия, которая разбудит тебя в семь утра, покажется кошмарной.

Сонно собираюсь в школу и не сразу вспоминаю, что сегодня мой день рождения. Да, он у меня 2 сентября. Так что этот день не совсем праздник... В школу же надо!

...Как только вхожу в класс химии, сразу замечаю, что Радия нет. С радостью устраиваюсь рядом с Вадимом и начинаю мечтать о том, что мой новоявленный враг не придет. Шансы на это достаточно высоки — до звонка всего две минуты.

Сегодня в честь дня рождения я не опоздал — хотел, чтобы он прошел как можно лучше. Но меня ждало большое разочарование — по-видимому, Вадим забыл о том, какая знаменательная дата у меня сегодня. Да и другие одноклассники тоже не поздравляют... Где рыжий Гришка, что всегда дарил мне какую-нибудь ерунду? Где сухощавый Васек, что тянул меня за уши?

Раздается второй звонок, и я вздыхаю с облегчением: Радий не пришел.

Как-то некстати в соседнем кабинете музыки начинает играть пятая симфония Бетховена: «Та-та-та-там... Та-та-та-там...».

— Здравствуйте, садитесь, — улыбается учительница, и эта улыбка странно контрастирует с музыкой из соседнего кабинета. — Как отдохнули за лето?

На последней парте просыпается отъявленный двоечник и бормочет:

— А? Что? Уже новый учебный год? Ребят, я же просил разбудить меня весной! Ну вот... проспал все лето в школе...

Смеются все, но не я. Мой взгляд устремлен в проем двери, в котором появляется Радий.

— Извините, можно войти? — спрашивает он.

— Входи, Резерфордьев. В следующий раз не пущу.

Парень будто пропускает все это мимо ушей, входит в класс и занимает место позади нас с Вадимом, за последней партой.

— Итак, задача нашего сегодняшнего урока поговорить о... — начинает учительница.

Уже не слушаю преподавателя. Думаю о неприятной ситуации, которая складывается со мной в этом году. У меня появился враг. Это более чем неприятно. Нужно как-то менять ситуацию.

Ко мне прилетает самолетик, который запускают по классу мои одноклассники, когда учительница отворачивается к доске. Ведут себя как маленькие дети. Неужели им еще интересны подобные игрушки? Метко запускаю самолетик прямо в мусорку. Несколько человек показывают мне поднятый вверх большой палец.

К концу урока принимаю решение серьезно поговорить с Радием.

На перемене я уже собираюсь подойти к своему противнику, как его окружают одноклассники. Они с ним общаются, как будто он здесь с первого класса и заслужил огромное уважение! Я не чувствую ничего, кроме злости. Хорошо хоть девочки с ним не разговаривают, лишь косятся неодобрительно.

Вскоре Радий отделяется от одноклассников и идет по направлению к туалету. Я быстро следую

за ним, он вроде этого не замечает. Через некоторое время мы оказываемся в почти безлюдной части коридора, и я, наконец, решаюсь.

— Радий!

— Что? — Мой недруг останавливается, медленно поворачивает голову в мою сторону.

— Давай забудем нашу вражду и будем относиться друг к другу по-человечески?

Радий вдруг громко смеется так, что слышит, наверное, весь коридор.

— По-человечески? Ты себя-то видел, неудачник?! Осмелился встать на моем пути — теперь будешь отстоем класса. Твои одноклассники будут моими слугами. Ты же будешь в самом низу, на уровне грязи.

Я с размаху заряжаю ему в нос. Так. Противник шагает навстречу мне. Так. Недруг хватает меня за руку и выворачивает ее так сильно, что я чуть ли не вскрикиваю от боли.

— Так, что здесь происходит? — раздается за моей спиной голос заместителя директора.

Радий быстро отпускает мою руку, отходит на шаг назад и мгновенно преображается в лице. Прям пай-мальчик!

Я молчу.

— Еще раз такое увижу, и вы попадете к директору, это я вам обещаю, — проговаривает сквозь зубы мой спаситель.

Радий разворачивается и идет в сторону туалета, я возвращаюсь к классу.

Настроение портится окончательно.

Меня уже посещает мысль, что оно и останется таким до конца дня, как вдруг на втором уроке, истории, меня радует неожиданный сюрприз. Вадим, оказывается, не забыл! Друг дарит мне черный галстук, и я не могу удержаться, чтоб тут же, на занятии, не распечатать и не примерить его.

Но на перемене настроение снова ухает в глубокий ухаб. Вокруг Радия снова компания парней, а я стою один, и мне не с кем общаться. Не понимаю, почему он так популярен?! В нем же нет ничего такого… Он же пустой. Абсолютно!

День проходит мучительно, непраздничнo, хотя были и подарки, и торт. Я не успеваю оглянуться, как на улице выключается солнце, включается луна, и наступает время ложиться спать.

Но сон, как и Радий, тоже будто объявляет мне войну. Постоянно переворачиваю подушку холодной стороной и бегаю на кухню попить. Что-то не так. Я чувствую это. Что-то больно колет сердце, не давая насладиться даже тем, что день закончился и можно отдохнуть. Откуда взялось это волнение?

3 сентября, среда

Встаю в совершенно разбитом состоянии. Кто его разбил? Эта бессовестная бессонница? Невыносимый Радий? Или…

Все же надеваю подарок. Галстук действительно хороший, стильный. Я улыбаюсь своему отражению, а оно отвечает мне какой-то кислой миной с потухшими серьезными глазами.

Выхожу из дома. По дороге в школу встречаю… О, это невыносимо!

Радий быстрым шагом проходит мимо меня, сильно толкая плечом. Я теряю равновесие, и…

Перед глазами ядовито-красная пелена злости. Руки сжимаются в кулаки. И чешутся. Ужасно чешутся подраться с Радием. Но я знаю, что такой бой ничего не изменит, и поэтому злюсь еще больше.

Я сижу в луже. В буквальном смысле. Да и в переносном тоже. Придется идти домой переодеваться…

В школу я, конечно, опаздываю. Ну… как всегда, чего уж тут… Но уже не на две-три минуты, а на все десять. Как следствие, пишут замечание в дневник, ругают. Чего уж там, я давно к этому привык.

…Перед вторым уроком заботливая учительница литературы говорит мне:

— Саша, у тебя синие круги под глазами. Поздно ложишься спать?

— Нет, ложусь рано. Когда уже рассвет, — хмуро отвечаю я, опуская глаза.

— Ты знаешь, нужно спать семь-девять часов, — наставляет преподаватель.

Радий сейчас в классе, а в его присутствии не хочется сообщать учительнице о том, что у этого есть свои психологические причины, и я говорю:

— Не мог оторваться от компьютерной игры.

— Ну и поколение… Что из вас вырастет? — со вздохом произносит преподавательница. — Если бы вы были нормальными…

Если бы… Если бы этот мир был нормальным…

Третий урок — алгебра. На нем Вадим сидит со мной. В отличие от первых двух.

К концу занятия оказывается, что мы сегодня пишем самостоятельную работу, как раз эти последние пятнадцать минут. У меня-то по алгебре хиленькая четверочка, а у Вадима — трояк, так что я ему постоянно даю списывать. И этот раз не становится исключением.

После урока Вадим, даже «спасибо» мне не сказав, идет к компании Радия. У меня возникает ощущение, что мной воспользовались. А я думал, на свете есть справедливость. Хотя… Я все еще

считаю, что она есть. Только она объявит о своем существовании позже. Намного позже...

На перемене я не могу придумать, чем себя занять. Очень скучно быть одному.

4 сентября, четверг

Просыпаюсь с четкой мыслью, что нужно срочно поговорить с другом. Конечно, понимаю, что не могу диктовать ему, с кем общаться, а с кем нет, но это уже переходит все границы. Я дал Вадиму время понять, что за человек этот Резерфордьев. Три дня — это много или мало для этого? Порой, чтобы узнать человека, требуется минута. Вот я понял, что представляет собой мой теперешний недруг, именно за это время.

В школу собираюсь как никогда быстро, хочу разобраться во всем как можно скорее, лучше всего до уроков. Но, конечно, опаздываю. Если можно считать опозданием вход в класс со звонком.

На перемене подхожу к другу, стоящему в компании Радия, беру его за локоть, говорю: «Давай отойдем, сказать кое-что надо». Вадим кивает и следует за мной. Отходим на несколько метров, останавливаемся. Я внимательно смотрю на друга.

Настроение у Вадима веселое, в противоположность моему. Но вот взгляд холоднее, чем раньше. Весь его вид говорит: «Давай быстрей, а то не услышу следующую историю Радия».

— Ты знаешь, — начинаю я.

Компания моего недруга взрывается смехом после очередной истории Резерфордьева, и мой собеседник непроизвольно смотрит в ту сторону.

— Мне не нравится, что ты общаешься с Радием.

Вадим некоторое время задумчиво смотрит на меня, и отвечает:

— А ты не хочешь перейти в его компанию? Там интересно.

— Нет, не хочу! — громко восклицаю я, и одноклассницы, стоящие неподалеку, испуганно косятся в нашу сторону. — Вообще-то мы с ним враги, — продолжаю чуть тише. — Если ты не заметил.

— Ну, так попроси у него прощения.

Все слова будто упали в царскую водку, которая разъедает даже золото. А раз слово — серебро по известной пословице, значит, и его может разъесть? Во всяком случае, слов теперь нет. Изумление затмевает все. Как? Ну как можно было такое сказать?!

— За что?!

— Он нам все рассказал, — спокойно проговаривает друг.

— Что он рассказал?!

— Что ты ему нахамил.

— Да?! И как же я ему нахамил?! — восклицаю я так громко, что эти слова слышит даже вся компания Радия, до этого чрезвычайно занятая своим важным разговором.

Да что этому Резерфордьеву надо?! Он и так делает мою жизнь невыносимой! Забрал лучшего друга, всех приятелей и нормальную, почти счастливую жизнь!

Поднимаю взгляд на своего недруга. На его губах — ухмылка. Мне становится ужасно противно от всей этой ситуации, от этой злостной усмешки, от своей несдержанности.

— Обыкновенно, — раздражающе тихо отвечает друг. — А я-то думал, что ты...

Так, ясно одно: Радий всех обманул. Что он такого им сказал, что даже Вадим мне такое говорит?

— Слушай, Радий врет. Уж не знаю, что он вам такого сочинил, но все, что он сказал, — неправда. Давай я объясню, как это было на самом деле... — начинаю я, но друг меня перебивает.

— Нет, у меня на это нет времени. Да какая разница, как это все было?! — говорит он и уже собирается уйти, как я его хватаю за рукав.

— Ты чувствуешь, что происходит с нашей дружбой? Так продолжаться больше не может. Выбирай, с кем общаться: либо со мной, либо с Радием.

— Я не буду никого выбирать. Мне с ним интересно, — немного недоуменно отвечает дру...

Все. Именно в этот миг понимаю, что у меня больше нет друга и он никогда не вернется. И я внутри себя снимаю с него эту ответственную должность. Не просто из-за политики «друг моего врага — мой враг». Есть и другие причины.

Невозможно оставаться друзьями, не общаясь, а ведь теперь Вадим почти не будет со мной разговаривать.

Зная подлую натуру Радия, можно предположить, что он будет использовать Вадима, чтобы всячески испортить мне жизнь.

Я уже чувствую, как «друг моего врага» меняется. И не в лучшую сторону. А что будет через месяц? Два? В кого он превратится от этой новой дружбы, если это можно так назвать?

Человек, имеющий в близком окружении такого типа, как Радий, не достоин уважения. А дружбы без уважения не бывает.

И еще. Тоже очень важно. Друг никогда не предаст.

Значит, у меня и не было друга. Все это время. Я мысленно называл самым лучшим другом

того, кто был просто... губкой. Губкой, которая идет туда, где интересней, и впитывает все, до последней капли. Губкой, которой нужны шутки, а не друзья.

Наконец, мое подсознание это осознало, и это ужасное знание пробилось в мое сознание.

На следующем уроке, биологии, получаю пять. Так, случайно. Домашнюю работу я, конечно, не делал, просто параграф, который мне задали пересказать, очень легкий. Меня, конечно, охватывает некоторое вялое ликование, но какое-то... приглушенное. Зачем нужна радость, если ты не можешь ее ни с кем разделить? И это хорошее настроение от отличной отметки испаряется в минуту.

Настроение не меняется и когда я прихожу домой. От обеда я отказываюсь, но все-таки ужинаю. Но так, немного, без аппетита.

Половину ночи не сплю. Лежу в наушниках, слушаю музыку в плеере. Думаю о поступке Вадима.

Я могу пережить предательство. Пусть сейчас мне очень больно, пусть! У меня есть для этого силы, как и у всякого другого человека. Я могу и простить предательство, ведь прощать нужно все. Но забывать предательство я не собираюсь. Дело не в злопамятности, а в наставлениях жизни, которые делают тебя опытней. Из всего нужно выносить какой-нибудь урок.

Но возникает вопрос: что делать дальше? Просиживать в школе шесть-семь часов, ни с кем не общаясь? Спасибо, за последнее время я уже натерпелся этого ада! С меня хватит! Возможно, мне придется перейти в другую школу: в этом коллективе я друзей уже не найду. Или стоит поискать «нормального человека» среди ребят из параллельных классов?

«Нормального» — не в обиходном смысле. Жаль, что многие, сознательно или бессознательно, считают безнравственность «нормальностью». Для меня «нормальный человек» — это человек, умеющий хотя бы дружить. Я и не прошу большего.

Ну и где же «нормальные люди»?

2.

8 сентября, понедельник

Далеко не все в жизни получается так, как мы хотим. Вот сегодняшним утром я полез в холодильник, чтобы достать оттуда свой йогурт... а его уже кто-то съел! А я хотел совсем немногого...

Совсем немногого я хотел — всего лишь перейти в другую школу. Но надежду на то, что мое желание в ближайшее время исполнится... Вот вчера вечером я рассказал родителям, что не хочу больше учиться в этой школе, потому что учителя и ученики... В общем, далеко не все в жизни получается так, как мы хотим.

Родители сказали, что надо доучиться хотя бы до конца первой четверти, так что мне еще мучиться и мучиться. А вот в пятницу я особо не мучился. А все потому, что душевно замучился еще в четверг. У меня даже поднялась температура. Наверное, душевное состояние отразилось и на физическом.

Зеваю и выглядываю в окно. Почему-то кажется, что небу не так холодно, как неделю назад. Или это только кажется?

Знаю, этот мир живет по каким-то своим особым законам, и мне вряд ли их когда-нибудь понять. Теперь я понимаю, что такое отчуждение. Мир где-то там, а я отдельно. Стою в школе у стены, бездумно смотря перед собой. Слева хихикают девочки. Где-то впереди и справа смеется компания Радия. Не вслушиваюсь в разговоры вокруг. Мысленно сооружаю вокруг себя невидимую стену. Не хочу контактировать с тем жестоким, холодным миром. Не хочу...

Так! Что-то мысли не те... Похоже, именно это называется «замкнуться в себе». Нужно срочно искать человека, с которым бы я смог дружить. А ведь трудно, оказывается, искать такого человека. Некоторые могут похвастать тем, что легко заводят друзей. А мне почему-то кажется, что они заводят приятелей, общение с которыми так же быстро заканчивается, как быстро и начиналось.

А какие критерии мы применяем при поиске друга? Какие? Схожие интересы? Чувство юмора? Пожалуй, да. Но иногда этого недостаточно. Некоторых волнует социальный статус, некоторых нет. Некоторые даже выбирают по внешности. Возможно, у меня слишком строгие критерии, но я хочу, чтобы у меня был нравственный друг. Но как его найти в этом почти равнодушном мире? Или... мне только кажется, что он равнодушный?

Вот Вадим на секунду отрывает взгляд от Радия и с какой-то злостной усмешкой смотрит на меня. Сначала безразличие, потом ненависть... Похоже, ненависть заразна. А ведь это одна из самых худших душевных болезней. А люди этого не видят. И прожигают свою душу вновь и вновь яркими кроваво-красными мыслями, которые рождаются из-за этого чувства. Нет чтобы питать свою душу светом.

Хотя ненависть ведь тоже очень интересное чувство, ведь так? Очень противоречивое чувство...

Не вижу смысла во вражде. Я понимаю, Радий таким образом пытается самоутвердиться, но это вполне можно делать и другими, более «бескровными» методами. Люди часто пытаются скрыть собственную неполноценность агрессивным поведением. А за маской уверенности в себе, социальной роли лидера вполне может скрываться жажда признания, уважения общества... Значит, его поведение можно исправить. Сходить бы Радию к психоаналитику.

Не знаю, как Резерфордьеву, а мне нужна дружба. Пойду поищу кого-нибудь на роль «пробного нового друга».

Не успеваю я додумать эту мысль, как раздается звонок на урок. Похоже, мне придется отложить «поход» на следующую перемену.

...Когда урок заканчивается, я первым выхожу из класса. У меня должно быть больше времени, ведь я не знаю, как начать знакомство. Понятно, если парни знакомятся в школе как одноклассники, или в драке, или их знакомят общие друзья. Или, на худой конец, в Интернете, по интересам. Но если один парень подойдет для знакомства к другому в школьном коридоре, то будет ли это нормально?

В голову даже пришла абсурдная мысль, не развесить ли в нашем районе объявления «Потерял друга. Ищу замену. Нашедшему — 300 рублей».

И ниже написать свой номер телефона.

Ага. Дружба не продается и не покупается. Если происходит иначе, то это не дружба. А эквивалентом денег могут служить и другие вещи.

Стройные ряды моих мыслей разрывает чужой вопль.

— Ненавижу химию! — кричит какой-то парень, быстрым шагом выходя из соседнего кабинета и чуть ли не сталкиваясь со мной.

— Я тоже, — поддакиваю я, надеясь этим заработать его уважение.

Парень на секунду останавливается, оборачивается и недоуменно смотрит на меня. Я улыбаюсь. «Пробный новый друг № 1» хмурится, фыркает и... шагает прочь.

Да... Так у меня ничего не выйдет.

— Ну что вы, коллега. Вас же могла слышать учительница химии, — раздается насмешливый голос откуда-то сзади.

Я оборачиваюсь. Передо мной стоит парень немного ниже меня ростом, с аккуратно причесанными волосами и серьезным взглядом.

— Аркадий, — представляется он и протягивает мне руку, которую я тут же пожимаю.

Вот это да! Я шел знакомиться, а познакомились со мной!

— Саша, — бормочу я, не зная, что еще сказать.

— А знаете ли вы, Александр, что скорость звука в воздушной среде при нормальных условиях приблизительно 340 метров в секунду? И таким образом учительница по химии, находясь в дверях своего кабинета, где она могла сейчас быть примерно с вероятностью 35-42 %, могла услышать ваше нелестное замечание менее чем за 1/50 секунды.

— Занимательно, — проговариваю я, не желая «отпугивать» нового знакомого.

Но уже через десять минут жалею о том, что поддержал разговор, и думаю, как же отвязаться от этого Аркадия.

Я никогда никого из своих знакомых не считал занудой. Я даже не понимал, как это — «зануда». «Разве бывают скучные люди?» — думал я тогда. Теперь я понимаю, скучных нет, но бывают люди, просто не интересные тебе. Когда тебе не интересны их разговоры, их воспоминания, их чувства. Такое бывает, и в такой ситуации нужно исправлять... *себя*.

Нужно уметь выслушать каждого человека. Другое дело решить, нужен ли тебе такой друг. Сможете ли вы что-то дать друг другу? Если нет, то нужно сказать прямо своему новому знакомому, что вам не быть друзьями. *И объяснить все.* Но лучше, конечно, с течением времени узнать человека лучше, дать ему второй шанс.

Есть такой вид любви — агапе. Это когда любишь каждого человека на земле. Несмотря ни на что. Мне бы хотелось, чтобы в каждом из нас жила такая любовь. Но люди травят это чувство друг в друге как только могут — безразличием, злостью, ненавистью...

И у меня сейчас нет сил на такую любовь...

Терпимость. Вот то слово, мимо которого я мысленно прохожу уже много раз, но никак не хочу замечать. Терпимость — это то ключевое слово, которое даст мне возможность выбраться из намечающегося уныния.

Но сейчас в мой воздушный шарик под названием «терпимость» вдули слишком много воздуха. Очень постарался Радий. Резерфордьев выполнил, можно сказать, большую часть работы. Потом стал потихоньку дуть Вадим. Могло бы показаться, что он сильнее дунуть не может, но в конце мой бывший друг дунул так... Теперь воздушный шарик моей терпимости надут до упора и поэтому может лопнуть совсем от малого.

БАХ!

Да... недолгой была наша «дружба»...

— ДА ЗАМОЛЧИШЬ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ УЖЕ ИЛИ НЕТ?!

Парень испуганно отшатывается. Радий, проходящий мимо, чуть не спотыкается и удивленно поднимает глаза на меня. Учительница по биологии, тащившая куда-то модель скелета человека, роняет ее на какого-то маленького мальчика, отчего тот визжит, как девчонка; но на это никто не обращает внимания. Кажется, все люди, находящиеся в этом коридоре, смотрят на меня.

Раздается спасительный звонок, и я бегу к кабинету, в котором должен быть наш следующий урок. В голове успевает промелькнуть мысль, что это первый звонок на урок, которому я так рад.

Осень... Самое разумное время года. То время, когда мозги не так сильно разогреты, как летом. Не так «заморожены», как зимой. И не так заняты амурными делами, как весной.

Уроки закончились, и я иду домой. Настроение неожиданно осеннее, но, несмотря на это, музыка в наушниках — отнюдь не «Времена года» Вивальди. Не пришло ли время новой, современной классики?

Подхожу к своему дому. На лавочке рядом с подъездом сидит старушка, которая помешала нашей драке с Радием при первой нашей с ним встрече.

— Здравствуйте, тетя Марина, — киваю я соседке.

— Здравствуй, Сашенька. А я как раз тебя жду, — улыбается она и с усилием встает с лавочки. — Сейчас зайдем ко мне, я тебе дам плакат.

— Какой плакат? — недоуменно спрашиваю я.

— Для твоей сестренки.

Я следую за соседкой в ее квартиру. Она приводит меня на кухню и сажает на старое потрепанное кресло.

— Подожди, я сейчас, — говорит она и скрывается за дверью в другой комнате.

О мою ногу что-то трется и мурлычет, и я опускаю глаза вниз. Это Пуся, кошка тети Марины! Я глажу животное, но на руки не беру — шерсть от этого пушистого создания так и лезет. Пуся и раньше была не худышкой, чего никак не могла скрыть даже ее длинная шерсть, а сейчас потолстела еще больше. Видимо, соседка ее очень балует.

— Ох, что-то суставы ломит, к дождю, наверное, — бормочет скорее себе, чем мне соседка, входя на кухню. — Держи, Сашенька, отдашь своей маленькой сестренке, — продолжает она более громко.

Я принимаю из рук тети Марины плакат, разворачиваю его и... взрываюсь смехом. На плакате ангелочек на розовом фоне! И при этом невероятно детский ангелочек. Как для ребенка, которому нет и года.

— Моя сестра уже не такая маленькая, она не станет вешать это в свою комнату, — честно говорю я.

— Возьми-возьми. Она девочка хорошая. Я знаю, ей понравится.

Я еще немного отпираюсь, но соседка очень настойчива, и мне приходится взять плакат.

Сестра, конечно, от плаката отказывается. У нее уже наступает тот сложный возраст, когда все стены оказываются завешенными плакатами с рок-группами, а на рабочем столе компьютера красуется что-то страшное и непонятное.

Недавно она хотела проколоть себе бровь и рассказала об этом мне. Естественно, мама это узнала в тот же день, и после знатного нагоняя стремление сестры бесследно испарилось. Но это было только начало. Вдруг, ни с того ни с сего, она начала злиться, когда кто-нибудь заходил в ее комнату. Мама и папа в ответ сначала только хмурились, но конфликт все назревал, и вскоре грянуло. Мама вылетела из комнаты сестры с плачем и криками «Тебе от меня только одно нужно! Принеси, убери, пошла вон — вот твое отношение!». Сразу же после этого в комнату сестры влетел папа. «Неделю без Интернета!» — громко сказал он, широким шагом прошел в коридор, достал роутер и пошел вместе с ним успокаивать маму.

Так мы с сестрой остались без Интернета. Роутер родители спрятали в своей комнате, но моя сестра нашла его уже на следующий день. Пока родителей не было дома, мы поставили роутер и полдня просидели в Интернете, а потом сестра спрятала роутер у себя в книжном шкафу за книгами.

На следующий день мы пошли в школу, а родители перерыли весь дом в поисках роутера. Оказалось, эта дурочка взяла его с собой в школу, чтобы его не нашли! Так в тот же вечер созрел грандиозный скандал, и сестра, улучив удобный момент, взяла сумку и сбежала из дома. Мы нашли ее через несколько часов в ближайшем парке, продрогшую и голодную. Ее взгляд говорил о том, что ей некуда идти.

После, придя домой, она сказала, что у нее отобрали сотовый. Родители, которые не прекращали ее ругать, расстроились еще больше, но одновременно и пожалели. Конечно, скоро им пришлось купить ей новый телефон. А еще через несколько дней, когда я искал циркуль, случайно

нашел у нее в столе ее старый сотовый. На вопрос к сестре, как это понимать, она ответила: «Спалишь — убью». А еще через день и палить-то стало нечего — старый телефон пропал. Оказалось, что она продала его за школьными гаражами парню из параллельного класса.

Первоначальной идеей сестры, куда потратить полученные деньги, было сделать татуировку под сердцем с именем «Лада» (и это при том-то, что она сама не Лада, а Ира!). На вопрос, почему Лада, она ответила: «Назову так свою дочь, и она всегда будет у меня рядом с сердцем». Однако сестра решила по-другому: купила краску для волос и подмешала ее в новый шампунь, который ей только-только купила мама. В результате она и волосы покрасила в ярко-розовый цвет, и не виновата оказалась, потому что, якобы, виноват был некачественный шампунь. А на следующее утро мама, еще не увидев покрашенную с вечера дочь, помыла волосы тем же самым шампунем. После этого папа еще шутил, что только нам с ним осталось покраситься в ярко-розовый, чтобы мы все были нормальной ненормальной семьей.

Так что моя сестра не ангелочек. А плакат придется брать с собой завтра в школу, чтобы отдать кому-нибудь из младших классов. А то выбрасывать и жалко, и как-то неудобно.

Ложусь спать я в более хорошем настроении, чем то, что сопровождало меня целый день. За окном синее небо моего любимого оттенка. Я даже на несколько секунд замираю, внимательно вглядываясь в него, будто «впитывая» этот цвет. Люблю небо.

Небо... Небо...

О, небо! Что ты мне предложишь завтра? Грозу или солнце? Счастье или несчастье? И... не переменится ли к вечеру погода?

Я усмехаюсь собственным напыщенно-возвышенным мыслям и ложусь спать. Небу все-таки немного теплее.

9 сентября, вторник

«Лифт в моем подъезде еще не починили» — именно это оправдание я готовил для учительницы химии, которая должна была отругать меня за опоздание. Но когда я прихожу в класс, ее еще нет, так что я быстро готовлюсь к уроку и делаю вид, что я прилежный ученик.

По случаю своего опоздания на урок и плохого поведения ребят моего класса (афишировалась только второе) учительница не отпустила нас на перемену и продолжила занятие и после спасительного — как мы думали — звонка. В результате нас «милостиво освобождают из плена» только за две минуты до начала следующего урока — истории. А кабинет по этому предмету прямо в противоположной части школы от кабинета химии. Так что перемена, можно сказать, «испита до дна».

...Но не нами.

Пока наш класс неторопливо идет в следующий кабинет, я слышу отрывок разговора Радия с кем-то из парней:

— Выучил историю? — спрашивают моего врага.

— Шутишь? Буду я тратить время на эту скуку! Я даже на урок не пойду! Домой свалю, — отвечает он.

— Что?! Каким образом?! — раздается удивленный голос сзади.

— Увидишь, — в голосе Радия явно слышна усмешка.

Когда наш класс «втекает» в кабинет, Резерфордьев прямиком подходит к учителю и начинает ему что-то говорить. Я не прислушиваюсь. Делать это нет ни малейшего желания.

— Александр. — Я чувствую на себе внимательный взгляд преподавателя и поднимаю голову.

Учитель истории всегда так ко мне обращается. Уж не знаю, почему. Имена других ребят называет кратко или зовет по фамилиям. А меня — Александр. Не уважение ли это?

А вот Радия он с самого первого дня невзлюбил. И спрашивает на каждом уроке, и спрашивает. Я даже какую-то жалость испытываю к своему врагу.

— Резерфордьев меня уверяет, что забыл дома выключить утюг. Может, ты сходишь к нему домой и сделаешь это? Он живет тут недалеко, в доме Гриши, с которым вы с недавнего времени не общаетесь. Ты ведь знаешь, где это? — произносит преподаватель.

Я удивленно киваю.

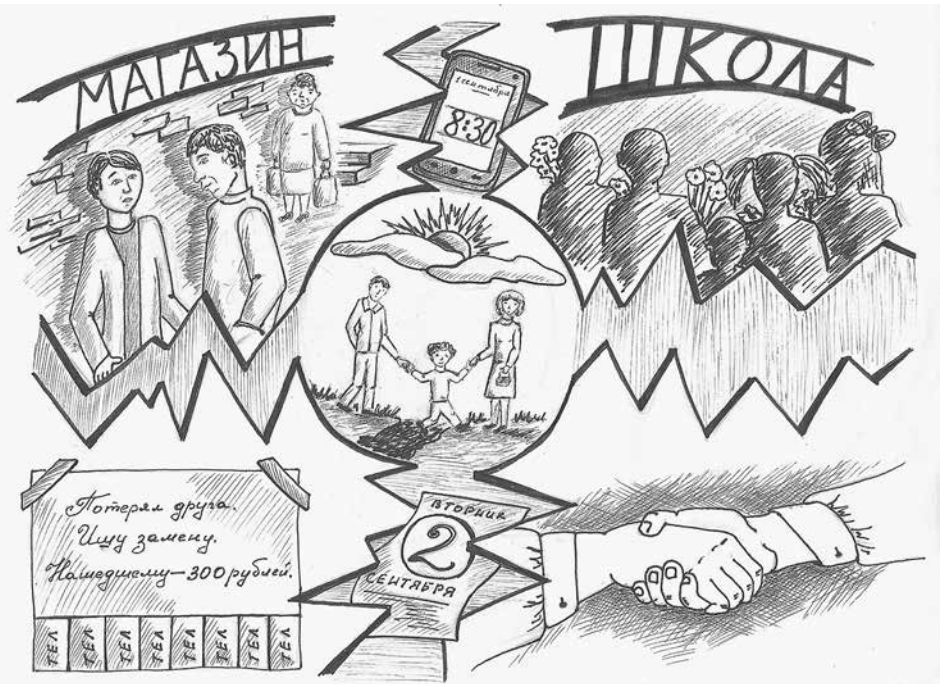
Радий пытается как-то протестовать, но учитель его даже не слушает. Преподаватель приказывает Радию достать ключи от квартиры из школьной сумки и отдать мне.

— Не обворует он тебя, успокойся, в нашей части городка каждая старушонка всех вокруг знает. — Вот последние слова учителя, которые я слышу перед тем, как оказываюсь за дверью.

...Почему я туда иду?

Во-первых, мне интересно, как выглядит квартира Радия и его комната в частности. И я просто не могу упустить такой шанс побывать там.

Во-вторых, мне нужно где-то просидеть этот урок, чтобы учитель думал, что я действительно пошел выключать утюг, а шнырять по подъездам в школьное время не очень хорошо.



В-третьих, мне нужно выполнить долг перед учителем. Не зря же он меня так уважает?

В-четвертых, а вдруг Радий и правда забыл выключить утюг?

К слову, последний пункт этого списка самооправданий я вношу лишь чисто символически.

В квартире Резерфордьева никого не оказывается. Я снимаю свою черную осеннюю куртку, кроссовки, школьную сумку, которую прихватил чисто машинально, и иду смотреть дом.

Комнату Радия я нахожу почти сразу. Ее вполне можно назвать обычной, однако есть в ней какие-то отдельные, особенные элементы, которые выделяются из общей серости. Так, например, большое квадратное зеркало. Или покрывало его кровати, на котором рисунок шахматного поля, по двум противоположным сторонам которого расположены фигуры. С одной стороны — черные, с другой — белые. Или отсутствие в комнате книжного шкафа.

Остальное было не столь примечательно. На обоях ненавязчивый рисунок. Телевизор плазменный. Стол с компьютером. Кстати, ноутбук точно такой же, как и у меня. Возмутительно!

Это не то, чего я ожидал. Нет «школьной» доски со злостным планом захвата мира. Нет большого количества ужастиков и боевиков на полке с DVD-дисками. Нет черных стен и плакатов рок-групп на них.

А вот плакат с ангелочком будет смотреться в самый раз! Я подхожу к своей школьной сумке, вытаскиваю из нее плакат, беру на столе Радия ножницы, отыскиваю скотч. Теперь жить становится как-то веселее.

...Глядя на результат моего труда, я не могу не улыбаться. Все-таки красиво получилось! Какая ирония! Какая легкая насмешка! Какая маленькая колкость!

Вдруг начинают бить настенные часы, и я испуганно вздрагиваю. Они висят в соседней комнате, а звук от них разносится по всему дому. Как же здесь спит семья Радия?

Стоп. Пробило... сколько раз? Смотрю на ближайшие часы. 10:00. Значит, через несколько минут закончится второй урок, а я тут маюсь неизвестно чем!

Единственная мысль бьется в моей голове, когда я подхожу к школе: «А мне ведь надо отдать ключи своему врагу!»

Я не успеваю отдать Радию ключи до третьего урока потому, что сам вбегаю в класс через тридцать секунд после звонка.

После урока Резерфордьева нигде не видно, и я решаю пойти его поискать — будет намного лучше, если я отдам ключи своему врагу без свидетелей. По крайней мере... без знакомых мне свидетелей.

Не успеваю найти Радия, как меня в коридоре больно толкают в плечо. Резерфордьев. Кто ж еще? Его королевское величество само меня нашло.

— Где ключи?

Я протягиваю недругу его вещь.

— Если только узнаю, что там хоть что-нибудь пропало... — шипит Резерфордьев.

Порываюсь сказать какие-нибудь презрительные слова, но даже в мыслях они почему-то не обретают сколько-нибудь ясной формы, и я молчу.

Хочу затеять драку, но Радий вдруг отпускает меня и уходит. Ого!

Итак... звание мистера миролюбия достается сегодня... Радию Резерфордьеву! Ура, товарищи!

Сегодня я как-то особенно сильно устаю в школе, поэтому очень спешу домой, чтобы поскорее завалиться на диван перед телевизором. Но, видимо,

моим мечтам не суждено столь быстро сбыться, потому что у входа в подъезд меня останавливает тетя Марина:

— Сашенька, милок, у меня так суставы болят... Можешь сбегать в магазин, купить пару бутылок «Дюшеса»? Я тебе сейчас дам денежку.

Я растерянно смотрю на соседку, вручающую мне деньги.

...Через несколько минут возвращаюсь из магазина, отдаю пакет с лимонадом соседке и со спокойной совестью иду домой.

10 сентября, среда

По дороге в школу на меня накатывает сушняк, и я забегаю в магазин купить бутылочку воды. И, конечно, это причина моего очередного опоздания в школу. Точнее — почти опоздания. Я влетаю в класс за одну секунду до звонка.

Только успеваю поставить школьную сумку на парту, как в класс быстрым уверенным шагом входит учитель геометрии и закрывает дверь на ключ. Наши уже давно знают эту его методику — опоздавшие на урок не допускаются. С этим у учителя геометрии строго.

— Всем встать, — произносит учитель, хотя и так уже весь класс поднялся из-за парт.

Мне всегда это напоминает фразу «Всем встать, суд идет», которую постоянно произносят в судебных разбирательствах, показываемых по телевизору.

— Здравствуйте, садитесь, — сухо произносит преподаватель. — Как мы с вами договорились, сегодня во второй половине урока у вас будет самостоятельная. Конечно, жаль, что 1 сентября у нас пропал урок из-за того, что это был сокращенный день, но в пятницу мы повторили основной материал прошлого года и теперь готовы ее писать. Чтобы не было пересаживаний в середине урока, разговоров и списываний, я сейчас же скажу, где и с кем каждый из вас будет сидеть.

Конечно! Закон подлости еще никто не отменял! Пришел — и сразу самостоятельная! А ведь меня в пятницу, когда они «договорились о самостоятельной», даже в школе не было.

Я на некоторое время задумываюсь о всех превратностях судьбы, выпавших мне на голову будто в виде четырехкилограммового кирпича. Такое впечатление, что судьба играет со мной в «Догони меня кирпич», только, кажется, она забыла, что время от времени мы должны меняться ролями в этой игре.

...Так что я там говорил про закон подлости? Кажется, он имеет особенную силу сегодня — меня сажают с Радием. И только я успеваю перетащить свои вещи на указанную парту и открыть тетрадь, как меня вызывают к доске.

«Новый Малевич подрастает», — думаю я, рассматривая то, что Радий нарисовал в моей тетрадке за то время, что я отвечал у доски. Ангелок (я не Резерфордьева имею в виду, а его рисунок) очень похож на того, что был на плакате. А я думал, что его месть за мои проказы будет страшнее! А ангелок — это по-своему мило. Все бы ничего, но нам тетради сдавать в конце урока. Не найдя другого выхода из сложившейся ситуации, я вырываю лист, за что тут же получаю выговор от учителя за «недолжное отношение к школьным тетрадям и геометрии в частности». Наверное, Радий предвидел это, и скорее всего, он рассчитывал, что выговор будет строже.

Когда Радия вызывают к доске, мне хочется тоже что-нибудь нарисовать в его тетради, но меня останавливает инстинкт самосохранения и мысль о том, что я уподоблюсь Резерфордьеву, если поступлю так. Все-таки решаю этого не делать.

Как только Радий садится на свое место, учитель раздает листочки с заданиями самостоятельной работы и говорит, что мы можем начинать.

Среди номеров на расчет по формулам вклинивается задача на доказывание теоремы.

По-тихому перетаскиваю учебник с парты к себе на колени и начинаю списывать.

Радий вдруг нагибается к моему уху и шепчет:

— А я уж думал, ты маменькин сынок.

Я недоуменно смотрю на него, после чего фыркаю и продолжаю списывать. Чего тратить время на таких людей.

На перемене перед следующим уроком достаю из сумки бутылку с водой и делаю пару глотков. Морщусь. Денег, что были с собой, хватило только на воду. Причем, торопясь в школу, я случайно купил газированную, которую очень не люблю.

Иногда меня посещает мысль, не начать ли читать что-нибудь в школе, раз уж перемены я тут провожу так скучно и бессмысленно. Благо книжный шкаф в моей комнате есть. Хотя я особенно не читаю...

Но сегодня я, против обыкновения, захватываю с собой книгу. Называется «Как выжить среди идиотов». Название, говорящее само за себя, не правда ли? Открываю первую страницу и пробую сосредоточиться на чтении, но мне что-то мешает. То ли гвалт вокруг, то ли недоуменные взгляды одноклассников — не каждый день увидишь меня

за чтением. Я даже не понимаю смысла предложений, поэтому тут же с раздражением захлопываю книгу и сую в школьную сумку. Нужно искать другое занятие.

11 сентября, четверг

Надо было до такого додуматься — притащить в школу гитару! Я возвращаюсь из столовой с завтрака, когда слышу звуки музыки, раздающиеся из класса, в котором будет наш следующий урок. Радий бренчит, окруженный одноклассниками и даже некоторыми одноклассницами. Надо же, не знал, что он умеет играть... Я даже не видел в его комнате гитары.

Видимо, я успеваю на самое начало представления. Радий поет незнакомую мне песню. Сажусь за свою парту, достаю сотовый телефон, чтобы создать видимость, что я чем-то занят, а сам краем уха слушаю. Когда она заканчивается, боковым зрением замечаю, что Радий встает и начинает кланяться. Раздаются даже негромкие аплодисменты.

— Чего-то у меня в горле пересохло... Кто-нибудь, принесите мне попить, — растягивая слова, произносит Резерфордьев, и тут же два человека срываются с места.

— Эй, как тебя там... — Я чувствую взгляд Радия и вопросительно поднимаю глаза. — Ты играть-то хоть умеешь?

— Умею, — на повышенных тонах отвечаю я, встаю со стула, тянусь к гитаре, чтобы показать, насколько хорошо я умею играть. Ведь недаром же я три года учился в кружке гитары! В сознании быстро всплывает песня, которую хорошо было бы сейчас спеть, которая была бы в данный момент актуальна...

Но Резерфордьев не отпускает гитару, резко тянет на себя, и она выскальзывает из моих рук.

— Ты еще смеешь прикасаться к моей гитаре?! А ну-ка вышвырните его отсюда! — надменно восклицает Радий.

Васек, мой бывший приятель, хватает меня и выставляет за дверь класса. Я настолько изумлен, что не сопротивляюсь.

— Что с тобой?! — восклицаю я, когда он отпускает меня и уже собирается идти обратно. — Неужели я чем-то заслужил это?!

Васины глаза, подернутые тиной слепого подчинения Резерфордьеву, на несколько мгновений проясняются, но и то не до конца, мутно-зеленые, противные куски этой тины все еще видны в них. Однако факт остается фактом — на секунду в глазах бывшего приятеля появляется что-то, напоминающее разум, сохраняющее оттенок своего мнения, и он произносит:

— Заслужил. Тебе надо со всеми нормально общаться.

И уходит.

Я стою и хватаю ртом воздух. Ах, значит так?! Значит, я должен общаться с Радием и с теми марионетками, которыми стали одноклассники?!

Вдруг успокаиваюсь. Злость быстро уходит, оставляет после себя неожиданный подарок — истину.

Как все-таки важна избирательность в общении! И дело не в том, общаться ли с нищими или *брезговать* этим. А с кем я раньше общался? Это просто люди с гниющей душой! Хотя нельзя так думать, нельзя... Где там в моем сердце агапе?

На часах уже 1:20, а спать не хочется совершенно. За окном по-своему уютно и даже как-то душевно шумит дождь. «Странно... — проносится в моей голове. — Всю первую неделю осени дождя не было, а сейчас вдруг зарядил».

Хочется выключить свет во всей квартире, встать перед окном, закрыть глаза и слушать стук капелек о стекло. В душе рождается какое-то чувство, смутно напоминающее вдохновение. У меня даже появляется мысль, не написать ли книгу под названием, скажем... «Любовные рога и копытца».

Но я этого не делаю. Я вытаскиваю из-под кровати гитару и провожу по ней рукой, сметая пыль.

«Я не разбужу сестру — у нас хорошая звукоизоляция. А родители не спят, подключают телевизор, который купили только сегодня», — всплывает в голове отговорка к совести, которая, казалось бы, стоит сейчас надо мной с бейсбольной битой в руках.

Я играю на гитаре, и капли дождя будто хотят играть со мной вместе. Но не понять — то ли они рвутся ко мне в комнату, чтобы начать творить музыку вместе со мной, то ли им довольно и того стука о стекло, что они создают... Или, может, музыка, которую они создают, — совсем не музыка? А поддерживающие хлопки зрительного зала? Если так, то когда я заканчиваю петь, эти тихие аплодисменты перерастают в бурные овации — начинается ливень. И, кажется, он теперь везде. Не только там, на промозглой осенней улице, но и у меня дома. И, будто бы, даже во мне. И ледяные капельки втекают прямо в душу...

Продолжение следует.

Марианна ГАЛИЕВА

Марианна Галиева окончила Ивановский государственный университет (филологическое отделение), выпускница кафедры русской словесности и культурологи, ученица фольклориста В. А. Смирнова.

В настоящее время является сотрудником филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Сфера научных интересов: литературоведение, фольклористика. Автор более 70 научных статей о русской литературе и фольклоре.

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели! Вашему вниманию в рамках нашего раздела предлагается новая рубрика. В ней мы обратимся к русской литературе и ее богатому языку, напомнив самые интересные «сюжеты» и фрагменты известных произведений. Ведь порой необходимо не столько прочитать то или иное произведение, сколько подобрать к нему ключ, чтобы понять прочитанное. Даже познать и умом, и сердцем!

А ведь и само чтение — это прикосновение к родникам — ключам — студеного, чистого и звенящего таинственной первозданной тишиной Слова, которое было еще в самом-самом начале бытия нашего...

Это будет путешествие в мир великих творений! Нам предстоит увлекательное странствие ко древу языка и литературы, укорененному в простых и загадочных формулах, простирающихся вглубь времен.

Итак, в путь!

Темный слог премудрой девы Февронии

Начнем путешествие в мир языка и литературы с преданий старины глубокой, древних сказаний о мудрых девах, настоящих героях и чудесах.

Позволю себе вспомнить вместе с вами древнерусскую «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Повесть эта о героях, великой любви и волшебном невидимом мире. Вот ее сюжет.

Князь Петр и премудрая дева Феврония считаются русскими святыми, однако их жизнь складывалась чудесным образом. Прежде Петр, брат Павла, был светским человеком. С Павлом случилась беда — его жену начал преследовать страшный змей, существо иного мира. Петр поспешил помочь брату и победил змея, но после этого тяжело заболел. В поисках исцеления явился он со своим слугой в одну деревню, где и встретился с премудрой девой Февронией, ставшей потом его женой. Дева согласилась избавить от болезни князя, конечно, с рядом условий-испытаний, одним из которых явился ряд загадок.

Дева встретила посланника Петра следующими словами: «Не хорошо быть дому без ушей и без очей!» Юноша же не понял тех слов и спросил девицу: «Где находится мужчина, который здесь живет?» Она же ответила: «Отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой ушел через ноги в глаза смерти смотреть».

Юноша опять не понял ее и удивлялся, видя и слыша столь чудные вещи, и спросил он девицу: «Когда вошел я к тебе, то увидел тебя занятую делом и зайца перед тобой скачущего, а потом услышал из уст твоих странные слова, и не понял я, о чем ты говоришь. Сначала ты сказала: “Не хорошо быть дому без ушей и без очей”. Про отца же своего и мать сказала, что пошли они взаймы плакать, а о брате своем — что пошел он через ноги в глаза смерти смотреть. И ни единого слова твоего я не понял...»

Она же ответила ему: «Ты этого не понимаешь? Придя в дом сей и войдя в горницу мою, увидел ты меня в будничной одежде. Если бы был в доме

нашем пес, то он, почуяв тебя, к дому подходящего, залаял бы на тебя: это — уши дома. А если бы был в горнице моей ребенок, то, увидев тебя, к дому подходящего, сказал бы мне: это — очи дому. А когда сказала тебе про отца и про мать, что отец мой и мать пошли взаймы плакать, то это значит, что пошли они на похороны и там плачут. Когда же они сами умрут, то другие станут плакать по ним — это и есть заемный плач. Про брата же тебе сказала, потому что отец мой и брат древолазцы-бортники, собирают в лесу с деревьев мед. Теперь брат мой ушел на это дело, и когда он влезет высоко на дерево и через ноги с высоты посмотрит вниз, то подумает, как бы ему не сорваться с высоты. Если же кто сорвется, тот жизни лишится. Поэтому я и сказала, что пошел он через ноги в глаза смерти смотреть».

Промолвил ей юноша: «Вижу, девица, что ты мудра. Скажи мне имя свое». Она ответила: «Имя мое Феврония». Юноша быстро возвратился к князю своему и рассказал ему обо всем подробно, что видел и что слышал.

Князь принял ответы девы и тоже загадал ей загадки. С одним из слуг своих послал он пучок льну и сказал: «Эта девица хочет быть моей женой благодаря своей мудрости. Если она мудра, то пусть из этого льну сделает мне рубашку, штаны и полотенце за то время, которое я буду находиться в бане». Слуга принес ей пучок льну, подал ей и сказал княжеские слова. Она же сказала слуге: «Влезь на печку нашу и сними с шестка поленце, и принеси его сюда». Она же, отмерив его пядью, сказала: «Отруби здесь это поленце». Слуга отрубил. Она сказала ему: «Возьми этот обрубок от полена, и пойди дай его князю своему, и скажи ему от меня: в то время, в какое я этот пучок льну расчешу, пусть князь твой сделает из этой щепки ткацкий станок и все устройство, на котором я смогу соткать полотно...»

Почему же посланник Петра не понял Февронию? Казалось бы, в речениях девы нет ничего такого, что должно было бы вызвать недоумение. Казалось бы, она изъяснялась с ним *просто*, но эта простота носит *мнимый характер*. Феврония зашифровала свое послание князю, и в этом сокрыт весьма глубокий смысл. Во-первых, в этом состоит негласный закон отношений: понять должен *только* Петр, именно для него передает дева послание — и в этом можно усмотреть некую интимность, *неразглашенность*. Во-вторых, в такой установке таится сакральный смысл. Герой должен заслужить, если хотите, завоевать, *тайное*, Февронию и свое исцеление в данном случае.

Здесь вспоминаются русские волшебные сказки с их *иным невидимым для обычных глаз царством*. Иван-царевич должен отправиться в иное царство, за пределы бытового, чтобы добыть себе *вещую невесту* (Василису Прекрасную) или волшебный предмет. В этом путешествии выражена тяга к идеальному (неслучайно же в сказке представлены три царства: медное, серебряное и золотое) и есть перерождение героя, его культурный рост над самим собой. Идея этого пути представлена в архаических пластах разных фольклорных жанров — в волшебной сказке, в заговорах и заклинаниях, в загадках.

В древнерусском тексте идеальное, тайное передано в форме *диалога-состязания*, возникшего между Февронией и князем. Герои испытывают друг друга «на прочность». Через загадки, которые они задают, демонстрируется и мудрость, и терпение. Модель такого поведения, думается, кроется в фольклорной эстетике, в *окольной темной речи*, присущей тем же заговорам или загадкам. Справедливости ради нужно сказать, что такой способ словесной борьбы вообще был характерен для архаического мировоззрения. Так, например, в кеннингах скальдической поэзии заложен тайный смысл, доступный не каждому, — лишь исполнитель, мудрый певец, скальд мог расшифровать тайну стиха. Таким образом распознавался человек, приобщенный к ритуальной действительности, то есть к стихии *другого* порядка. Вот и в древнерусской повести, написанной, с одной стороны, по законам жития, с другой стороны — сказки, находим форму диалога, кодированного загадкой. И в этом состязании познаются оба героя — князю понятен язык Февронии, и он подмечает ее мудрость, а Февронии по нраву приходятся ответы Петра. Вот по этим причинам этот «непонятный», необъяснимый, на первый взгляд, диалог носит интимный характер, ибо неявленное само по себе уже сакрально и связано с идеей «иного царства».

Князь Петр прошел все испытания, уготованные Февронией, и взял ее в жены. Бояре были недовольны таким выбором (ведь он женился на простой бедной девушке!), однако «Сей же блаженный князь по Евангелию поступил и, чтобы божие заповеди не нарушить, *власть свою за ничто посчитал*» и не оставил своей законной жены. Вместе они пережили тягости, уготованные судьбой, и умерли в один день и час. После этого стали считаться Петр и Феврония святыми.

Сергей КОЗЛОВ

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2015 год

Полустанок

Повесть

Рисунки Марины Медведевой

От водки я отказался, предпочитая вместе с Машей пить понемногу вино, которое действительно оказалось приличным. Видимо, из старых советских запасов. А Миха уже за первые полчаса ополовинил бутылку водки и лишь слегка посоловел. За эти полчаса он рассказал, как выручил его мой нож, когда ему пришлось отбиваться в одиночку от нескольких человек. «Фраеров», так он сказал. О своем пребывании на зоне он рассказал совсем немного.

— Щас работу будешь искать? — опрометчиво спросил я.

— Ага, — ухмыльнулся Миха, — сторожем, социалистическое имущество от разграбления охранять.

Я не уловил иронии в его голосе и потому продолжил:

— У меня был момент — я работал сторожем. Казалось бы, отсидишь смену — и потом свободен двое суток. Но все не так: все равно один день отсыпаешься, а за второй ничего толком не успеваешь сделать, а вечером опять на смену. Да и зарплата — кот наплакал. В общем, не советую... Так, если пересидеть.

— Я уже пересидел, — хохотнул Миха. — Какая работа, Серый, какая работа?! — веселился он. — Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Сейчас деньги сами в руки идут. На дороге лежат. Пойди и бери! Успевай только!

— Понятно, — вздохнул я, и мы с Машей переглянулись, почувствовав полярную разницу нашего с Мишей понимания жизни.

— А ты-то сюда — к Маше приехал? — задорно подмигнул нам Миха, отправляя в рот вязь квашеной капусты.

— Не поверишь, снова случайно.

— Случайно ничего не бывает, — философски определил Михаил, разливая спиртное по бокалам, и тут же вспомнил нашу встречу на крыльце, где мы говорили о том же самом буквально час назад.

— Это точно, — согласился я. — У одного еврейского писателя прочитал: совпадение — некошерное слово.

— Не какое? — не понял Миша.

— За ним гнались, — вставила Маша, и Миха тут же переменился в лице.

— Это не те, что сейчас в морге синеют? Со студеного болота?

— Те, — опустил голову я.

— Вот не знаю, че людей в гиблое место несет?! Мне вот это болото по барабану. Че им от тебя надо было? Не, подожди, не рассказывай, давайте сначала накатим. — Он поднял свои полстакана водки, именно по столько он себе каждый раз наливал.

После того, как мы выпили и закусили, я вкратце рассказал свою невеселую историю, а Маша добавила про Олега, который вроде как меня не

выдаст. Миха задал несколько уточняющих вопросов, закурил и стал почесывать татуированной в синь рукой небритый подбородок.

— Порешаем, — через какое-то время заключил он, — а если не порешаем, то порешим, — и сам засмеялся над своей бандитской игрой слов.

Странное это было время. Действительно, бандиты, криминальные авторитеты могли решить проблему быстрее и безболезненнее, чем официальные лица, чем даже ослабевший в одночасье КГБ и милиция. Правда, потом человек, который воспользовался их услугами, так или иначе попадал к ним в зависимость. Не зря сленг породил новое слово «попадалово», и как самоуверенно они кричали: «Все! Ты попал!» И как глупо и безнадежно бездарно смотрелся в этот момент президент России по фамилии Ельцин. Не знаю, как «наверху», но среди простых людей мне не приходилось встречать тех, кто сказал бы о нем доброе слово. Он и побеждал по простому, известному с древних времен принципу «разделяй и властвуй». И общество делилось, даже патриоты разных мастей готовы были впиться друг другу в глотку. И, как ни парадоксально, была какая-то внутренняя, необъяснимая тяга людей к объединению. Правда, собирались в основном за бутылкой. И собирались порой совершенно разные люди, каждый изливал свою правду, никто никому не бил морду, но на том все и кончалось... На похмельном синдроме. Пройдет не так уж много времени, и всем захочется уйти от всех. Крайний эгоизм начнет разъедать общество, предоставленное само себе.

— Завтра и поедем, — решил за всех Миха. — Сегодня я уже лишку дал, — он кивнул на пустую к тому времени бутылку, — можно и бухому поехать, но убиться по дурости — это для салабонов. Давайте-ка еще нальем. — И уже буквально сгрызал пробку со второй бутылки. — Стрелочку забьем, Серега, как положено...

— Да я и не знаю, кому стрелку забивать, — усомнился я.

— Не переживай, сами объявятся. А дальше — мое дело. Укатаем по полной. Беспредел же. Беспредел?

— Беспредел.

— Во, Маша, выходит, и такие, как я, нужны?

— Богу все нужны, да не все идут, — тихо сказала Маша, и Миха даже замер.

— Че, правда думаешь, и я Богу нужен?

— Я не думаю, так и есть. Первым в рай разбойник попал.

— В натуре? — Миха даже привстал.

— Правда.

— Да, — подтвердил я, отвечая на вопросительный взгляд Михаила.

Пока мы ему рассказывали о событиях на Голгофе, он выкурил в две затяжки сигарету, выпил две рюмки и потребовал, чтобы ему это показали прямо в Библии. Маша принесла Книгу.

— Значит, поп на зоне не врал, что Бог любит всех?

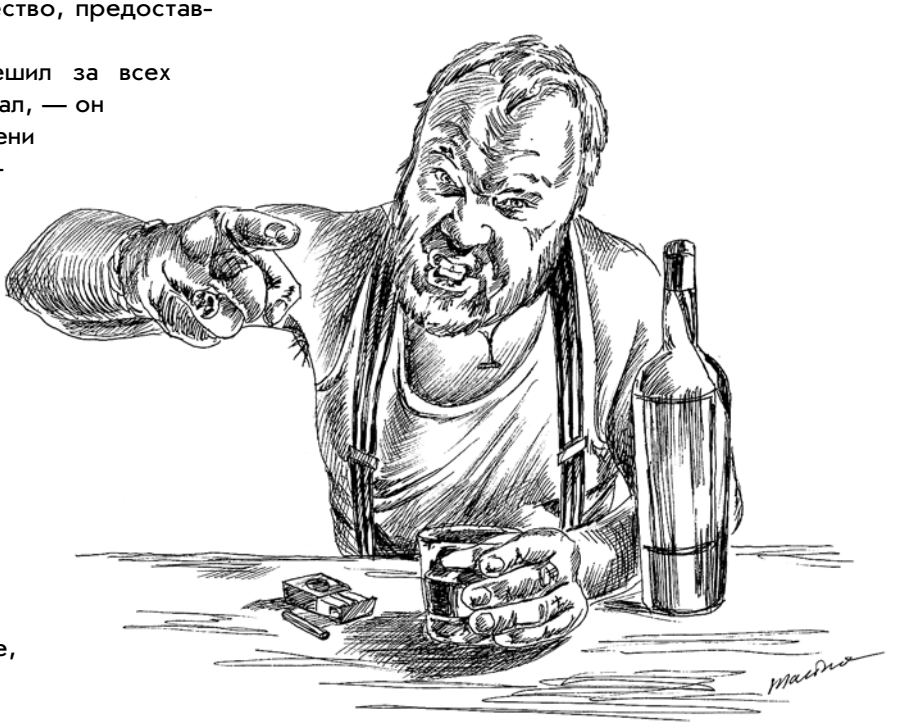
— Не врал, — сказал я.

— Бог и есть Любовь, — добавила Маша.

— Надо выпить... — Миха понемногу уходил в алкогольный туман.

Надо отдать ему должное: когда он почувствовал, что поклевывает носом, он засобирался. Маша уговаривала его не садится на руль, но он только отмахнулся, потом облапил ее на пороге:

— Маша, ты такая хорошая! Ты — золото! Я за тебя всех порву! И за тебя, Серега, всех порву! Ты не думай, я не забуду, завтра приеду, будь готов. Поедем в твой областной центр, порвем всех, как Тузик грелку! Как газету растреплем! Как «Пионерскую правду»! Я — за тебя, а Бог —



за меня. Кому скажу, никто не поверит! Разбойник в рай! О! Порву всех за вас! Город этот гнилой по кирпичику развалим! Фраеров... всех... нах... короче...

И все же вывалился на улицу. Плюхнулся на водительское сиденье своего «зубила» и, открыв окно, продолжал нам кричать, что порвет всех и вся. Удивительно, но, когда он завел машину и, с трудом развернув ее, поехал, мне показалось, что машину он ведет ровнее, чем стоит на ногах. Маша тревожно перекрестила его вслед.

Мы вернулись в теплую комнату.

— Ты веришь, что он тебе поможет? — спросила Маша.

— Не знаю.

Честно говоря, мне почему-то было все равно — поможет мне Миха или нет. Так уж складывалось, что треть моих одноклассников или однокурсников так или иначе были теперь связаны с криминальным миром, третья часть ушла в бизнес, а третья часть, к коей относился и я, не могла найти себя в этом безумном мире.

Я вдруг почувствовал страшную усталость, такую, словно весь день разгружал вагоны. А в студенчестве мне приходилось подрабатывать и грузчиком. Поэтому, скинув верхнюю одежду, я просто упал на кровать и закрыл глаза. А Маша также вдруг легла рядом, положив голову на мою грудь.

— Ты на мне женишься? — тихо, будто была в чем-то виновата, спросила она.

— Конечно, милая. Ближе тебя у меня сейчас никого нет! — Видит Бог, я тогда нисколько не врал.

Но Маша вдруг спросила:

— Только сейчас?

И я растерялся, сам не совсем понимая, почему вставил в свою фразу слово «сейчас».

— Сейчас особенно, — нашелся я.

И потом мы долго лежали и молчали, потому что молчание порой действительно дороже золота, молчание имеет свойство объять и погрузить в себя, важен только наполняющий его смыслом заряд. Оставаясь в этом безмолвии, как в защитном коконе, мы уснули.

Февральские дни коротки, потому что зима начинается прятаться. Разумеется, в конце декабря дни много короче. Но февральские летят вместе с ветром, они быстрее проживаются, да и сам февраль, как самый недоношенный из всех двенадцати месяцев. А этот год был еще и високосным. Может, и не зря в народе о високосных годах идет дурная слава? Для России 1992-й точно был не самым лучшим...

* * *

Миха явился утром, когда мы еще спали. Я представлял, что если он и придет, то ввалится в дом с очередной бутылкой, но он приехал на своем «зубиле» и тихо постучал. На улице поджал морозец, и он ежился на крыльце, даже стеснялся войти.

— Ну че, Серега, готов?

Я даже растерялся, так это было неожиданно.

— Миш, давай хоть чаю... — предложила Маша.

— Да мне бы грамм сто, опохмелиться, но вот на трассе и так уродов пьяных хватает. А нам двести пятьдесят кэмэ, хошь не хошь, по ледянке ехать. Подмерзло все. Колеса хоть и шипованные, но помереть по-дурацки я всегда успею.

— Я и говорю: чаю, и все равно легче будет.

— Ну давай, — сломался Миха, — только побыстрее. Раньше сядешь — раньше выйдешь...

Маша засуетилась у плиты, и я сразу почувствовал знакомый запах гренок. Мы с Мишей сели курить-смолить.

— Маш, ты тоже собирайся, — сказал я, но тут же был прерван на полуслове Михой.

— Сдурел, что ли? Нам еще баб в таких делах не хватало?! — Миша поперхнулся дымом, потом посмотрел на замершую Машу: — Маш, ты извини, ну, говорят так.

— Да я все понимаю, — тихо ответила Маша и снова повернулась к плите.

— Уж вы должны оба знать, женщинам на разборках делать нечего. Это тебе не «А зори здесь тихие». Вкуриваешь? — Миша посмотрел на меня, как на пацана малолетнего.

— Вкуриваю... — Я опустил глаза.

Маша подала чай, все те же ароматные гренки. Колбасы, сыра и масла тогда не было. Но эти гренки были вкуснее всех заморских деликатесов...

— Маш, я обязательно вернусь за тобой, — сказал я уже на пороге.

— Я знаю, — улыбнулась, чмокнула в щеку и сразу отступила, чтоб без долгих прощаний. — Только осторожнее, себя берегите.

— Не вопрос! — отрубил Миха и почти вытолкнул меня на улицу: — Поехали-поехали. Маша, не скучай. День-два — и приедем. Бутылочку приготовь, если сможешь.

— Не вопрос, — по-доброму передразнила его Маша.

Мы хлопнули дверцами, мотор взревел, Миша лихо рванул «ладу» с места, круто развернул на подмерзшем за ночь пятачке возле крыльца и рванул к трассе. Я только успел подумать, что небо почему-то стало ниже. Даже как-то давило. Над всей страной, что ли?

— Миш, так ты реально думаешь, что сможешь помочь в моей беде?

— Да это не беда! Это — фуфель! Беда, когда тебя уже отпевают или близких твоих, да и то не беда! Беда — когда ты парализованный или ножек у тебя нет, глазок. Сечешь? — резонно заметил он.

— Секу, — удрученно вздохнул я.

— То-то…

— Но они, наверное, уже знают, что на студеном болоте два трупа. Думаешь, они поверят, что они друг в друга стреляли?

— А нас это волнует? Кто беспредел начал?!

— По-моему, сейчас по всей стране беспредел, в том числе в вашей, прости, системе.

— Тут ты прав, не по понятиям все. Но где можно, мы правим. Да не кипишись ты, разберемся.

— В натуре?

— В натуре.

И мы замолчали, глядя на нечищеный зимний тракт, летящий под колеса «зубила». Миша включил радио, «попрыгал» со станции на станцию. Надрывались там то некий Доктор Албан, то «На-на», то Кай Метов пел про «позишэн», какое-то время Михаил задержался на «Любэ» — песни «Атас» да «Давай наяривай», но потом на волне их сменили Игорь Николаев с Наташей Королевой песенкой про такси. Он открыл окно, смачно сплюнул на встречный вечер и заключил:

— Нормальных песен нет. У «Любэ» еще туда-сюда… А блатные песни в тюрьме надоели.

— А что бы ты хотел послушать? — спросил я.

Он посмотрел на меня внимательно, долгим пронзительным взглядом, так, что я даже начал переживать (он же не смотрит на дорогу!), и спросил в ответ:

— Ржать не будешь?

— Над чем?

— А мне нравится песенка львенка и черепашки «Я на солнышке лежу».

— Мне тоже нравится, — не стал ржать я.

— А еще люблю песню «Есть только миг».

— Между прошлым и будущим, — продолжил я.

— Да. Только миг. Че, плохая песня?

— Я разве сказал?

— Так, а че они лабуду всякую крутят. Диджеи долбаные.

— Для таких песен, знаешь, особое состояние нужно. И климат соответствующий в стране.

— Ну да, — согласился он.

— А мне песня из фильма «Щит и меч» нравится. В конце, когда он из больницы выходит, будто заново мир открывает, а там уже Победа… «Махнем не глядя» называется.

— Не помню…

И тут я запел:

— Прожектор шарит осторожно по пригорку, И ночь поэтому нам кажется темней, Который месяц не снимал я гимнастерку, Который месяц не расстегивал ремней… Есть у меня в запасе гильза от снаряда, В кисете вышитом душистый самосад, Солдату лишнего имущества не надо, Махнем не глядя — как на фронте говорят… Солдат хранит в кармане выцветшей шинели Письмо от матери да горсть родной земли, Мы для Победы ничего не пожалели и даже сердце как энзэ не берегли… — И дальше не смог. В горле встал комок. Я помнил последние кадры одного из любимых фильмов. Вспомнил и Миша.

— Так там еще эта… — похоже, он тоже проглотил комок, — «С чего начинается Родина?» А в этой, которую ты пел, помнишь? Давай с тобою поменяемся судьбою…

— Махнем не глядя, как на фронте говорят… Сто грамм с прицепом…

— Не помешало бы…

А я перестроился на другую песню, которую вспомнил Миша:

— А может, она начинается со стука вагонных колес? С полустанка… — добавил я от себя.

И мы замолчали. Каждый из нас погрузился в свои мысли. В серый, летящий в лобовое стекло февраль…

* * *

Каждый раз въезжая в родной город в то время, я ужасался «железным» шагам рыночной экономики. Буквально на глазах росли так называемые ларьки — кубы из металла с решетчатыми витринами, откуда, как из тюремного окна, выдавали страждущим водку в пол-литровых бутылках из-под минералки. И чаще всего за прилавком можно было увидеть уроженцев быстро ставшего суверенным Закавказья или нашего неспокойного Кавказа. Причем аборигены всерьез обсуждали, какой водкой меньше травишься — ингушской или осетинской, в то время когда два народа готовились к боевым столкновениям. Самым плохим считался разлив азербайджанский…

Паленая водка, импортное курево и турецкая жевательная резинка — вот основной набор этих ларьков помимо традиционных фруктов. Именно у такого «маркета» остановился еще на въезде Миша. Сунул голову за решетку и громко спросил: «Че у тебя есть?», получив в ответ пренебрежительное «А че надо?».

— Водка нормальная есть? Чтоб без потравы. Заплачу нормально. А если с утра голова болеть будет, гранату тебе в это окошко кину.

— Зачем так говоришь? Для уважаемых людей есть нормальная водка. Дороже немного, но есть. Вот! — И из-под прилавка были извлечены две «столичных» поллитровки в стандартном исполнении, даже с заворачивающимися пробками.

Миха взял одну из них, потряс, посмотрел через стекло на содержимое, будто по взболтанным пузырькам мог определить содержание вредных веществ в емкости.

— Пойдет, — заключил он, — и пожрать че-нибудь кинь. Тоже — приличного.

— Щас, все сделаю...

Через пару минут он уже кинул на заднее сиденье пакет.

— Надо было в нормальном магазине купить, — заметил я.

— Где ты видел нормальные? Не кипишись, не отравимся. Они быстро прорубают, с кем дело имеют. Я же ему башку отстрелю, и родной аул не поможет. Мы же их стрижем...

— Долго ли у вас это будет получаться. Закрепятся и сами начнут стричь, — перебил его я.

Он посмотрел на меня серьезно и с уважением.

— Правильно понимаешь. Ну, поглядим. Может, мы до этого и не доживем, — улыбнулся. — Тьфу... тьфу... тьфу.... — и смачно плюнул через левое плечо в открытое окно своей дверцы. — Давай, будешь штурманом, я город не знаю. Так что — рули.

Пробок тогда еще не было, хотя ездить все очень быстро начали по принципу «кто наглее» или «кто круче». Не соблюдать правила было, собственно, новым правилом. Сесть за руль в нетрезвом состоянии — почти норма. Главное — распальцовка — кто за тобой стоит: бригада, высокое начальство, милиция или ты сам можешь позволить себе понтоваться. Потому, буквально взлетев на мой крайний пятый этаж, уже через пятнадцать минут мы сидели у меня на кухне. Я жарил яичницу, Миша резал овощи и фрукты и между делом уже успел налить. Подняв рюмку, он вдруг продекламировал:

— Но мне богом дана Молодая жена, Воля-волюшка, Вольность милая, Несравненная; С ней нашлись другие у меня Мать, отец и семья; А моя мать — степь широкая, А мой отец — небо далекое; Они меня воспитали, Кормили, поили, ласкали; Мои братья в лесах — Березы да сосны...

— Это же Лермонтов! — изумился я. — «Воля».

— А чего еще на зоне учить? Я там даже со сцены перед кумом читал. Утренник у нас был в честь Первомая. Я и читал. Так, что братва плакала...

— Сильно, — признал я.

— Давай...

— Щас... — я мучительно вспоминал, дробил память на байты, и вспомнил, и, как и Миха, подняв рюмку, прочитал:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

— Есенин, что ли? — угадал созвучие, но не автора, Миша. В глазах у него стояли пока еще трезвые, но честные слезы. — Как про меня!

— Как про всех нас. Это Блок. «Осенняя воля». Но ты прав, очень созвучно Есенину.

— Напишешь мне?

— Не вопрос.

— Поехали?

— Поехали!

Водка действительно оказалась более или менее приличной. Во всяком случае — резиной не пахла, послевкусие было не тошнотворным. И черный хлеб с огурцом после рюмки — самый как раз!

— А ты вот, Серега, институты кончал, книг, поди, перечел, ну и че? Узнал, че главное в жиз-

ни? — чуть приблатнился, видимо, чтобы стереть, перебить в моей памяти минуты его слабости.

Я немного выждал, когда он нальет по второй. Лишь когда выпили, ответил:

— Только не говори, что ты в тюремных университетах все главное узнал. Я это уже от многих слышал.

— Не буду, — вдруг согласился Миха. — Но кое-что узнал. То, чего без шконки этой поганой не узнаешь. Не, не буду я тебе блатную романтику лепить, ты из другого теста. Но душа-то у тебя, как и у меня, русская...

Я не успел даже подумать, что он хотел этим сказать, как в дверь позвонили. Я поднялся было открывать, но он осадил меня за плечо рукой.

— Тихо! Сиди! Я сам пойду, — сунул руку за пазуху, под мышку, подмигнул мне и пошел в прихожую.

И так сказал, что возражать было бессмысленно. Он открыл дверь, и, видимо, разговора там сразу не получилось. Возня только в первые секунды... Зато бухнули на весь подъезд два выстрела, потом третий. И быстрые шаги по лестнице.

Сначала я сжался, потом выпил рюмку водки, перекрестился и совершенно спокойно для себя решил: будь что будет. Вышел в прихожую, в которой витал запах пороха и, казалось, гудело эхо выстрелов — никого. Но стоило толкнуть дверь, как моему взору на площадке предстала типичная картина девяностых годов. Два быкоголовых в крови лежали на одной ее стороне, ближе к моей двери лежал с открытыми и уже остекленевшими глазами Миха. Пуля, вероятно, третьего бандита прошила его голову сбоку, войдя где-то за ухом и разворотив затылочную часть с обратной стороны. В правой руке у него был старенький «ТТ», а в руке у одного из убитых — новенький «Макаров».

Эх, подарил кто-то Михе «ТТ», как я когда-то нож...

У меня не было уже ни испуга, ни отвращения, было только ощущение той самой гулкой пустоты. И скрипнула в ней соседская дверь, одинокая тетя Маша высунула голову из своей однокомнатной и вскрикнула:

— Ой, Сережа, что это здесь?! Ужас! Господи, да что же такое делается-то?!

— Не знаю, — бесцветно ответил я. — Услышал стрельбу, открыл.

— А я-то боялась открывать...

— Я тоже...

— Надо милицию вызвать. — Она тихонько прикрыла свою, а я в это время, словно по чьей-то подсказке вынес Мишин пуховик и положил его рядом, словно он держал его в другой руке. Ботинки Миша не снимал...

Милицию, передразнил я тетю Машу. И что?

— А мама-то где? — снова высунулась тетя Маша.

— У подруги.

— Слава богу! Чего им здесь надо было?

— Откуда мне знать. Они теперь стреляют где им вздумается.

— Ты маме-то позвони... Чтоб потом крови-то не испугалась. Я мыть не буду. Мне плохо станет.

— Я тоже не буду.

— Я пока закроюсь, ладно? Не могу я на это смотреть...

— Да и я пока закроюсь, — шагнул я обратно в прихожую.

Вернулся на кухню, вымыл Мишины рюмку и тарелку, налил себе еще, но пить не стал. Вдруг возникло чувство, что я зачищаю место своего преступления. Омерзительное и вязкое. С другой стороны, я прекрасно понимал, что теперь меня точно упакуют по полной: ни братва, так милиция, которой глухарей не надо.

Я выглянул в окно. Мишино «зубило» стояло на стоянке во дворе. Номера соседней области.

Что я скажу Маше? Что я буду говорить самому себе? Я даже не знаю, есть ли у Миши родственники?

А Миха... В рай полетел?.. Вслед за тем первым разбойником... Господи, что ж за время-то такое?!

— Вот и порешали, — сказал я вслух и все-таки выпил. Слабые мы в этом смысле, мужики, что в голове не укладывается, что болит, то и заливаем, чтоб потом болело еще больше.

Милиция приехала, как положено, минут через двадцать. Наряд — два молодых парня. Лейтенант и сержант. Небрежно осмотрели место преступления. Постучали во все четыре двери на площадках, но дома оказались только мы с тетей Машей.

— Что видели-слышали?

— Выстрелы, — в этом случае не соврал я. — Был, скорее всего, третий, я, когда дверь открывал, он по лестнице вниз убегал, а потом дверь подъезда хлопнула.

— Ясно. Опять разборки. Ваня, вызывай опергруппу. И этих...

— Криминалистов, — подсказал сержант.

— Ага. Похоже, что этот от них уходил, наверное, через чердак хотел. Не успел. Замка как раз на чердаке нет. Чего не повесите? Все уже давно повесили, железные двери на квартиры ставят. А у вас тут...

— Да как-то не думали, — пожал я плечами.

— Поставьте, а то теперь еще на чердаке лазить придется.

— Поставим, — пообещал я.

— В протоколе распишетесь? — равнодушно спросил лейтенант.

— Я ничего не видела, ничего подписывать не буду, — испугалась тетя Маша. — Вы потом уедете, а они снова приедут и поубивают нас. Ничего, Сережа, не подписывай. Будешь потом и от милиции, и от бандитов бегать...

Тетя Маша была железно права, но я так же равнодушно ответил:

— Подпишу, только быстрее, пожалуйста, мне к матери больной ехать надо...

— Хорошо-хорошо. А вы, женщина, закройте тогда дверь, не мешайте...

— Да закрою, — обиделась тетя Маша и хлопнула дверью.

* * *

Мама приехала минут через двадцать. Застала меня на кухне за допитой бутылкой водки, початой второй. Молча убрала ее со стола в холодильник.

— Есть хочешь? — как-то сурово спросила она.

— Нет, перекусил.

Села на место, где совсем недавно сидел Миша, отчего меня покоробило.

— Вот что, сынок, оставаться тебе здесь нельзя. Ты одному из них пистолет в руку вложил?

Я даже вздрогнуть от удивления не смог. Насмотрелась мама свежевыпеченных детективов. Уж если она подумала, что я всех трех на площадке положил, то будь у милиции хоть какая-то зацепка — не слезут.

— Мам, я ни в кого не стрелял.

Еще и болото притянут, подумал я о другом.

— Тетя Маша сказала, что один к тебе заходил, но милиции — ничего. Так что меня за нос не води. А эти во дворе потоптались, а потом — следом.

М-да... Хочешь раскрыть преступление — Cherchez la... бабушка! Эх, тетя Маша...

— Я тут вчера по своим связям кое-что сделала. Все-таки в обкомовской клинике работала. Вот — это твои билеты на самолет до Москвы. А это — до Франкфурта. В Германию. Вот твой загранпаспорт.

— Он советский... — Я не понимал, откуда это все и так быстро.

— Пока нет других. И виза там уже есть.

— Ма-ам? — вопросил я.

— Да, ты, конечно, не думал, что мама кое-что в этой жизни может. Знаешь, — она вдруг помянялась в лице, — на меня такие начальники заглядывались. Мы бы сейчас жили не бедно! Но я никогда не изменяла твоему отцу. — На глаза у нее выступили слезы: — В отличие от него. Поезжай.

— Что я буду делать во Франкфурте? Кому я там нужен?

— Просто пока поживешь. И не во Франкфурте, а рядом. Там городок небольшой есть, говорят, очень красивый. Вот адрес. — Она положила передо мной на стол листок, вырванный из блокнота, но я только мельком глянул на него. В голове пока ничего не укладывалось. — Я позвонила одному генералу, — продолжала мама. — Они тут разберутся с квартирой и с этим, как его, наездом на тебя. Наезд, он так сказал.

— Кто?

— Генерал. В Германии живет моя старшая сестра.

— Подожди, ты же рассказывала, что у тебя брат был в партизанах...

— Да, брат был в партизанах, из-за этого мы лишились матери. Ее убили бандеровцы, и меня хотели. А старшая сестра — красивая, пила много и с немцами путалась. С ними и ушла. Когда перестройка началась, письмо прислала. В гости звала... — Мать тяжело вздохнула. — Я не ответила. Не могла ей простить. А вот теперь, теперь — пусть она хоть часть греха своего искупит.

— Мам, да не надо мне ни в какую Германию! Надоело бегать! Я на своей земле, в своей квартире! Я их сам всех перестреляю! Нет уже сил терпеть эти тупоголовые малиновые пиджаки! Их всех перестрелять надо, как бешеных собак.

— Сынок, они сами друг друга перестреляют. Генерал сказал: а мы им поможем. А тебе уехать надо. В консульстве у меня тоже старый знакомый...

— Я не могу, меня там Маша ждет.

— Какая Маша? Где?

— На полустанке!

— На каком полустанке?

— Помнишь, я десять лет назад с поезда сошел? Вы меня все искали? И — Павлик?

— И что там была какая-то Маша.

— Не какая-то! Очень хорошая. Светлый человек. Я ж тебе рассказывал.

— Она до сих пор там?

— Она... снова там.

— Господи Иисусе!.. — вскинулась мама. — И что? Она хочет, чтобы ты был жив и здоров? Как ты думаешь? А я? На тебе сейчас живого места нет. А за своих, ты думаешь, они с тобой разговаривать еще будут? Просто убьют — и все...

Вот здесь мама была права.

— Но я не могу. Она меня ждет.

— Напиши письмо, я отправлю.

— Да я не знаю, куда писать? Какой там адрес?! Не знаю... Знаю, где с поезда спрыгивать!

— Ничего, я найду, как передать, а ты должен отсюда уходить. Сейчас же.

— Ма-ам?..

— Ты хочешь, чтоб я со своими диагнозами еще чуть-чуть пожила?! Тогда поживи сам! Попрошу генерала, найдет он твою Машу.

— Найдет?

— Ну, он большой человек. Помнишь, когда в армии ты заболел? Думаешь, кто меня в твою секретную часть отправил?

— Он что, влюблен в тебя был?

— Ну и что? Я уже тебе сказала. Просто он благородный человек. Таких скоро не будет.

Я удивился своей маме. Очень. Из раздавленной новым временем пенсионерки, не оставившей малооплачиваемой работы, она вдруг превратилась во влиятельную фигуру. Генерал... Консульство... Затаилась, стало быть, старая гвардия.

Я же говорю, странное это было время. Странное и гиблое. Безысходное и неровное: то быстрое, то зависающее в одной точке. И пьяное... Размазанное, как картины импрессионистов. А вот «Болеро» Равеля, как иллюстрация, к этому времени никак не шла.

— Тетку твою зовут Зоя. — Мама вернулась из воспоминаний, которые добавили ей морщин. — Характер у нее скверный. Поэтому будь покладистее. Вот адрес. — Протянула мне листок.

— Двадцать километров от Франкфурта... Кронберг... захолустье какое-нибудь...

— Знаешь, сестра мне писала, когда перестройка у нас началась. Видать, одиноко ей там стало. Ну писала там, фото присылала дома своего. А я выбрасывала ее письма. Не отвечала. Только с братом переписывалась. А потом он запил. Оба они пили... Один за советскую власть, вторая — за фашистскую... Прости господи... В общем, как росла я после войны сиротой, так и под старость осталась. Но вот адрес ее не выбросила. Что я хотела сказать?.. — Мама наморщила лоб, а потом стала тереть его с такой силой, словно хотела навсегда эти морщины разгладить. — А! Старая дура! Вспомнила, что хотела сказать. Нет там захолустья. Нигде. Цивилизация в каждом углу. Плохо, видимо, мы их победили. Отец твой туда ездил. В командировку. Я ему говорила к ней не ходить. А он сходил. Подарков привез. Только я выбросила все... Не надо мне от них ничего. Маму из-за нее убили. Мне пришлось бежать и жить приживалкой. Война, Сереж, не кончается, пока живы те, кто ее видел...

— И их дети, — добавил я.

— А немецкий офицер добрый был, — снова вспомнила она. — На флейте играл. Я тогда не знала, что это флейта, дудочка — и дудочка. Он заиграет, а я тихонько танцую. Другой-то музыки и не слышала. А вот песни у них дрянь. Горланят на своем грубом языке еще хуже наших пьяных мужиков. Не чета украинским песням. В общем... песни какие-то, все на марши военные похожи. Души в них нет.

— Может, они пели только такие... Германия, мама, — земля великих композиторов, а настоящих композиторов вдохновляет именно народная музыка.

— Может... Но то, что пели они... Собаки приятнее лают и воют. Напьются и мальчишкам нашим сахар обоссанный кидают. А те хватают и едят. А фрицы ржут, как кони. Пальцами в них тычут. И снова обоссут сахар и кидают, как собакам... — На глаза навернулись слезы. — Может, и цивилизация у них там, но я порядочного только одного видела. Офицера этого. Фридрих его тоже звали. Он даже маме помогал ведра с водой носить. И не приставал никогда. А Зоя с унтером каким-то путалась. У того пивоварня своя в Германии была. И говорила, что ее Фриц нашего проживальца за пояс заткнет. Мол, у того за душой только образование. Что он чуть ли не консерваторию окончил и его в армию забрали. А вот ее Фриц-Фридрих — у него пивоварня своя, и он сам на фронт пошел. Тупых москалей культуре учить.

Я вроде погружался в картины, которые дарила мне память матери, но мысли о Маше не давали покоя.

— И что я буду делать у этой тетки Зои? С нашей точки зрения она коллаборационист...

— Кто?

— Ну... изменница.

— Да уж сколько воды утекло...

— Не воды, мама, а крови, и никогда она временем не окупится. Сколько наша семья и семьи наших родственников на этой войне потеряли?

— Сколько? — задалась тем же вопросом мать. — О... А мы и не считали никогда. А надо бы. Я вот сяду, всех вспомню, кто воевал, кто в оккупации, кто в тылу погиб. Всех вспомню и в блокнот запишу. А ты сохрани.

— Сохраню...

Вереница лиц погибших родственников с нечетких пожелтевших черно-белых фотографий заставила нас замолчать. Почти в каждой семье есть такая «галерея». Интересно, как с этим в Германии?

Раньше они, хотят или нет, жили с чувством вины, а теперь вот, наверное, снова начнут жить с чувством превосходства…

— Мам, зачем мне туда ехать?

— Надо, сынок. Здесь нынче у тебя враги не хуже фашистов. И как таких русские матери выносили, как их земля наша держит?

— Да она их, мама, и принимает теперь бригадами. Каждый день похороны. Может, тем и очистимся. Нашей стране, прости господи, похоже, всякий раз для очищения война нужна.

— Война-то со своим народом, — вздохнула мать, — за какую победу в такой войне биться? Тьфу! — сплюнула в сердцах. — Гореть им всем в аду.

— Гореть, — согласился я, — но они про ад ничего не знают, а воюют за маленький рай для себя на земле.

— Мне Горбачев сразу не понравился. И пятно это страшное у него на лбу. Меченый, он и есть меченый. Бог шельму метит, это точно.

— Мам, ельциноиды еще хуже. Но мне щас не до них. Мам, мне надо с Машей решить. Считай, что это невестка твоя… — Я опустил глаза.

— Согрешил, значит, — снова она тяжело вздохнула и опустила глаза, словно она была виновата, а не ее сын.

— Любовь — грех, что ли?

— Любовь — она не только плотская.

— Да знаю я! — отмахнулся, не хотелось мне сейчас нравоучений. — Мне нельзя ее потерять. Она светлый человек. Иногда, кажется, что мысли мои читает.

— А что вас, кобелей, читать, — ухмыльнулась мать, — я вот отца твоего покойного вдоль и поперек прочитала. Все его измены наперечет знаю! Все его желания, слабости… Чего там читать-то?

— Мам, не надо плохо об отце…

— Да, ты прав… — Помолчала, погладила меня по голове, как в детстве. — Тебя так не прочитаешь. Ты у нас умный. Да и добром тебя Бог наградил. Не переживай, найдем мы твою Машу. К себе даже приглашу…

— Сюда, что ли? Под пули?

— Ну… Придумаем что-нибудь. Ты лети. А то мое сердце не выдержит. И тогда и меня можешь потерять, и Машу не найдешь. Лети, сынок… — На глазах у нее опять появились слезы.

— Да не могу я тебя тут одну оставить! Я тебя должен защитить!

— Все! Защитил уже. Это не твоя война. Ты свое в армии отвоевал. Все, — как застолбила, — едешь.

— Мам…

— Пока те или другие, милиция или бандиты снова не явились, пойду поглажу тебе вещи в дорогу, сам собери еще, что тебе нужно…

* * *

И все же я уговорил ночного таксиста съездить туда-обратно на богом забытый полустанок. За приличную, конечно, пачку денег. За нудный разговор в дороге. Ни о чем. О том же, о чем тогда говорили: куда страна катится?

Он терпеливо меня ждал, выкуривая одну сигарету за другой, пока я стучал в двери и окна. Но никто не открывал. Даже окна помертвели. Маши там не было, словно не было вовсе, словно мне все приснилось или почудилось. А я не знал, где живет Олег, где его искать, чтобы попытаться узнать хоть что-то. Мы крутнулись до ПОМа, но там его, разумеется, не было. И в больнице, где дремала фельдшер, я тоже ничего не узнал. Пролетавшие мимо пассажирские поезда и товарняки наматывали на колеса то немногое время, что оставалось у меня до регистрации на московский рейс.

Куда она могла уехать? Надолго ли? Почему? Может, что-то случилось у родственников?

Оставалось надеяться на то, что мама ее найдет. Если мать обещала, она всегда старалась выполнить обещанное любой ценой. Генерал, опять же…

В аэропорт я принес тяжелое сердце и чувство трусливого беглеца… Может, и Сашка Хлебоделов бежал так же? Хорошо бы.

И брошенный на лестничной площадке Миша стоял у взлетной полосы. Ничего не бывает случайно.

И только томик Гладкова на коленях подтверждал — все это было. А я верил, что вернусь очень скоро. «Толкование Евангелия». Кто бы мне, грешному, растолковал, правильно ли я поступаю. Но пусть меня осудит тот, кому не ломали ребра в это смутное время, кого не ставили на счетчик, кто не спивался от безнадежной безысходности, у кого все получалось и кто может с горделивой уверенностью сказать: я хороший порядочный человек. Я так сказать не мог. Мне было уже не страшно. Мне было больно. И к слову «больно» я могу лишь добавить лишь наречие «смутно». Как и ко всему времени. Смутное время.

* * *

После России, заваленной темно-серыми снегами, продуваемой со всей сторон евразийскими ветрами, свежеобъединенная Германия показа-

лась мне пусть и не райским уголком, но тихим и уютным государством. Там уже кое-где пробивалась травка, тщедушная такая, немецкая, как будто сразу причесанная. Стылый ветер хоть и гулял вдоль улиц, но вовсе не мешал продавцам цветов каждое утро выставлять прямо к порогу холодостойкие бруннеры, астранции, пиретрумы, гайллардии, различные декоративные розы и другие цветы и растения. И цветочный запах смешивался с запахом кофе и свежевыпеченного хлеба. В маленьком Кронберге (гора короны, следует понимать) всякий новый человек в те времена был заметен. Туристов, приехавших в отель Франкенштейна (так я назвал «Гранд Кемпински отель Фалькенштейн»), действительно похожий на средневековый замок, запоминали в лицо, если они приехали на сколь-нибудь долгий период. А иногда и по имени. Не знаю почему, но на первую ночь я остановился именно в этом отеле, хотя мне, изучавшему английский, весьма мешал языковой барьер. Но «битте Германия» за деньги понимала все. Мне хотелось отлежаться, как медведю в берлоге, собраться с мыслями, адрес тети тихо лежал в бумажнике и никуда не торопил.

Первое общее впечатление: прибранность и размеренность. Иногда возникало чувство, что вокруг никто не работает, а если и работает, то не спеша, будто занимается любимым хобби. И возникал резонный вопрос: кто ж тогда созидал германское экономическое чудо, что зиждилось на куче долларов по послевоенному плану Маршалла? Я, русский, никого своим появлением не удивил. Как потом выяснилось, чуть только приподнялся железный занавес, жители всех республик бывшего СССР ринулись в Европу за счастьем и прибылью, а Восточная Европа тут же устремилась в буквальном смысле подметать Западную. Потому и не было у меня проблем уже на первом завтраке в отеле, раз под рукой оказался пусть и неразговорчивый, но все-таки воспитанный на русском языке официант из Ивано-Франковска. Мы не задавали друг другу вопросов после того, как определились с местом отбытия каждого из нас, а все, что я попросил на завтрак, он принес. Мне не нужны были новые знакомства, а он, похоже, еще стеснялся своей новой работы в роли подносилы. Хотя, как я заметил, немецким гостям Кронберга, или тем более англоговорящим, он прислуживал с улыбкой и даже подобострастием, и улыбка его чуть сникала, лишь когда он чувствовал на себе мой ироничный взгляд.

Единственный вопрос я ему задал, уже выкурив после завтрака сигарету:

— Здесь где-нибудь есть православный храм?

— Пан — не атеист? — на украинско-польский манер спросил в ответ он.

— Нет, — осенил я себя широким крестным знамением.

Похоже, что крестное знамение изменило его отношение ко мне. Он даже потеплел взглядом.

— В Бад-Хомбурге.

— Это что?

— Город, в двадцати километрах отсюда. На такси недорого можно доехать. Можно на автобусе. Остановка — там. — Он указал рукой за окно, где над лужайкой перед отелем тянулась аккуратная улочка.

— А что, в Сибири храмов нет? — хитро улыбнулся он.

— Есть. Открыли многие заново. А что — работы на Украине нет? — парировал я.

— В Украине, — поправил он. — Для кого есть, для кого нет.

— Спасибо, — сказал я и оставил ему приличные чаевые.

— Удачи... пан. — Он словно нехотя произнес последнее слово.

— Не заморачивайся, я перебьюсь без господских величаний.

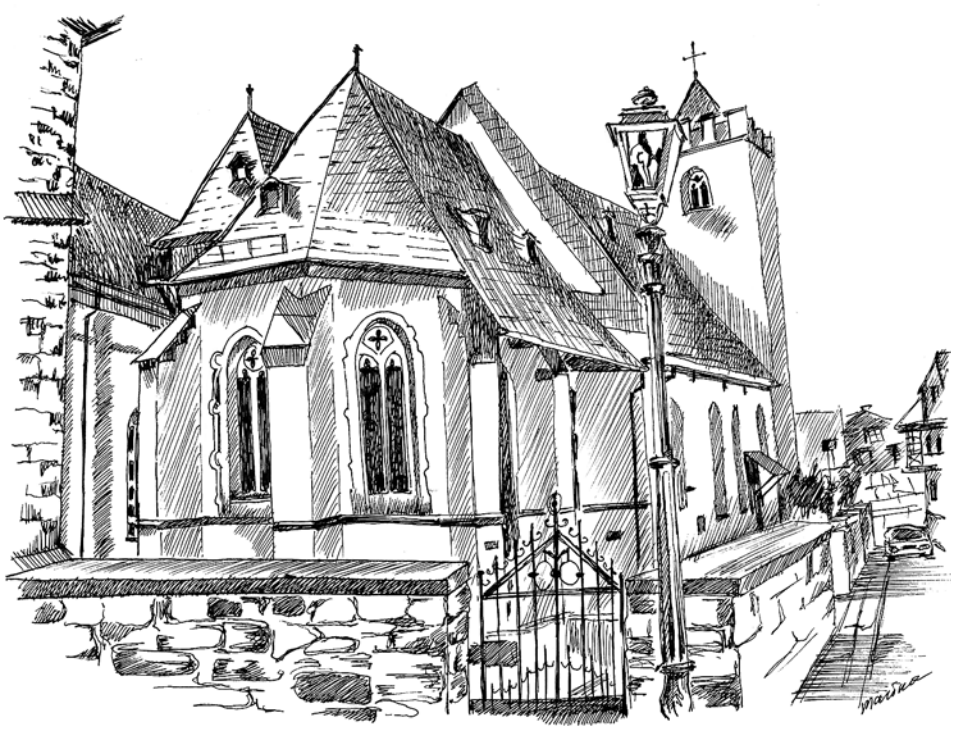
Он посмотрел на меня теперь уже с явной благодарностью, но отрапортовал:

— Здесь так принято. Это моя работа.

— Удачи.

Прогулка по Кронбергу принесла мне огромное удовольствие. Мало того, что места вокруг были живописные, но и сам городок, с его узкими тихими мощеными улочками, виллами богачей, которые, по всей вероятности, уезжали сюда от суеты мегаполисов, маленькая площадь перед маленькой ратушей, резиденция вдовы императора, возвышающийся над городом замок, являли собой такую точечную концентрацию истории, что, казалось, ты проходишь не по улице, а сквозь эпохи. И этот размеренный, уютный быт чувствовался не только в домах, но и на улице. С печалью вспоминал я ослепшие от грязи и времени окна купеческих особняков в родном городе. Может, они такие оттого, что им пришлось много повидать? Уж куда больше, чем этим бюргерским домикам... А может, мне было просто обидно за свою исстрадавшуюся Родину, к которой вдруг стали пренебрежительно относиться даже те, кому она дала куда как больше, чем многим из жителей маленького Кронберга.

Слабый английский и язык жестов довел меня до дома, указанного на заветном листочке от мамы. Серый, крытый красной черепичной крышей... Такой же, как все. Вот только окна наглухо занавешены. Вход с улицы. Поднявшись на небольшое крыльцо, я нажал на кнопку старого звонка. Дверь долго молчала мне навстречу. Ша-



гов за ней я тоже не слышал. Наконец она тихонько приоткрылась, и в небольшой проем выглянула крашеная в золотистый цвет старушечья голова. Тонко выщипанные брови над яркими, удивительно молодыми глазами вскинулись, ярко-крашеные алые губы под тонким носом чуть скривились:

— Сэргий? — огорошила меня узнаванием тетя, не видевшая меня ни разу в жизни. — У нас в роду вси красыви.

— Тетя Зоя?

— Изольда! — поправила она чуть высокомерно.

— Тетя Изольда, — принял я правила игры.

— Фриц называв мэнэ Изольдою. Чого стойиш? Проходь... — раскрыла она дверь шире, — ласкаво прошу в хату зрадныци... — Ухмыльнулась. — Маты, мабуть, про мэнэ всякого набалакала. Так шо ты в гостях у фашыстськойи пидстылкы. А про любов шо-нибудь чув?

— Приходилось. — Я с тоской подумал о Маше.

— Мы с Фрицом сорок шисть рокив душа в душу прожили. Добрэ, шо до амэрыканськойи зоны окупацийи дотяглы. А то гныть бы нам в лагэрях. Хиба нэ так, скажэш?

— Не скажу.

— Ну, дай хоч я на тэбэ подывлюся. Гарный хлопэць. Дужэ гарный! Точно у нас в роду вси таки. З нимкэнямы, дывысь, обэрежно. Воны на пэрэдок слаби, та й на голову не дужэ.

— У меня девушка в России.

— Москаль!

— Сибиряк.

— Ой, выкрутывся!

— А чего мне вертеться?

— Ну, раз до титкы-зрадныци прийихав, то е чого выкручуваться. Гаплык ваший Совдэпийи! — Это она сказала с таким торжеством, что я едва сдержал ответную тираду.

— Посмотрим еще...

— А шо дывыться? Ужэ й звидсиля выдно всэ. Зараз тикы Сталин миг бы всэ выправыть, а у вас такый нэ родывся. — Она явно испытывала восторг победительницы, словно сама только что развалила Советский Союз. — Тэпер вас банкиры захомутають!

— Тетя Изольда, вы могли бы говорить на русском языке?

— О, а кажэш нэ москаль! Да, можу, и по-руському и по-нимэцькому, нэ тупыця ж послидня. У мэнэ Фриц на всих мовах балакав. Каханою по ночам называв... Ладно, — ухмыльнулась она, прикуривая сигарету, — будем по-русски...

Эх, похоже, эта старушка еще покоптит по этому свету с цигаркой в зубах. Не худая и не толстая, в меру, как говорил Карлсон, упитанная, пожилым бюргерам в искушение оставленная вдовствовать, она была еще полна энергии. И, судя по всему, заправлялась ею из множества бутылок, что стояли на кухне. Определив вектор моего взгляда, тут же предложила:

— Ну, выпьем за встречу, племянник? Чего тебе налить? Водки? Шнапс? Виски?

— Виски, — попросил я, будучи не избалованным буржуйскими напитками.

Она тут же кинулась к своему обильному бару, «выкатила» на стол одну из початых бутылок. Потом посмотрела на меня с сожалением.

— Ты ж с закуской привык! А у меня, небось, рефрижератор пустой.

— Да я и так могу...

— О! — налила на дно двух стаканов. — А вещи-то у тебя где?

— В гостинице. Я ночью приехал, беспокоить не хотел.

— О, стало быть, деньги на гостиницу есть.

— Да есть немного.

— Если немного, то нечего ими кидаться. Я до часу ночи никогда не ложусь. Ждала ведь. Мать-то твоя в кои-то веки аж на международную телеграмму раскошелилась. Я-то ее звала Фрица хоронить да помянуть, думала, уж все быльем поросло, так нет, не приехала. Поди, сказала, фашистов не хороним...

— Ничего она не говорила. Просто промолчала.

— Ладно-ладно, не выгораживай. Я ведь ее вот с таких не видела, — она показала ладонью расстояние от пола. — Ну, давай еще по маленькой, у меня норма — три дозы. О! У меня лимон есть и хлеба немного, будешь?

— Буду!

Она открыла холодильник и в его огромную, почти пустую утробу прокричала:

— О, и масло есть, и ветчины кусок. Память-то у меня старческая. Вот мы сейчас... — Она стала носить продукты на стол, и среди объявленного появились еще оливки в стеклянной банке, которых я ни разу в жизни не ел, паштет и кусок твердого сыра.

— Капец тебе, мальчиш-кибальчиш, — тихо вздохнул я, глядя на закуски, но тетя не услышала, и мне не пришлось пересказывать ей рассказ Аркадия Гайдара.

— Ну вот теперь давай еще по одной, — устроилась она напротив, после того как весьма широкими ломтями нарезала ветчину и сыр. — Ешь, не стесняйся. — И тут же перешла на другое: — Жить будешь наверху. Там у нас две комнаты. Мы с

Фрицем сдавали их. А сейчас там пусто. Вот ключ. Вход с улицы отдельный. — Выложила на стол из кармана халата, отчего стало ясно — меня она ждала. — А робить... тьфу... работать — что думаешь?

— Не знаю. У меня гуманитарное образование, здесь оно не пришей кобыле хвост, и немецкого я не знаю.

— Налей тете еще, я так лучше думаю.

Я выполнил ее просьбу, точно соблюдая ее дозу. А когда выпили, попытался налить снова, но она накрыла свой стакан ладонью.

— Все! Доза! Фриц меня вылечил. Я больше ихнего теперь не пью. Давно уже... Там бы, — она кивнула в неопределенную сторону, подразумевая, видимо, Украину и Россию, — спилась бы уже, в могиле лежала. Если б до того в лагерях не сгноили. А Фриц, он обо мне заботился, фашист проклятый... — Она сказала это так нежно и ласково, что слово фашист прозвучало в значении «любимый». — Он как пивоварню продал, мы сюда и переехали, стареть тут решили. Тихо. Спокойно.

— Тихо. Спокойно, — согласился-повторил я.

— А у вас-то там совсем плохо?

— Самое страшное, что не знаем, чего еще ждать, — ответил я.

Тетя Изольда сочувственно вздохнула.

— Да и здесь тоже молодежь начинает с ума сходить. Ты, если хочешь, наливай себе еще.

— Не. Хватит. Надо в гостиницу сходить, за вещами.

— Ну, сходи. Ключ вот возьми. Я прилягу. После обеда всегда ложусь. А вечером в ресторан сходим. Я угощаю.

— Спасибо, тетя Изольда.

— Bitte schön...

* * *

Я смог позвонить маме только через три дня, когда разобрался с местными телефонами-автоматами. При тете из ее дома мне звонить не хотелось, а сотовые телефоны еще только-только начинались.

— Мама, Машу нашли? — первое, что спросил я, услышав ее голос в трубке.

— А я думала, ты хоть спросишь, как мое здоровье, — тихо ответила мама, и мне стало очень стыдно.

— Прости, мам, как ты?

— Нормально. Следователи уже два раза приходили. Но они считают, что это дело... как его...

— Глухарь, — подсказал я.

— Да, как-то так они сказали.

— А что про Машу?

— Сережа, я сама туда съездила, генерал даже свою «Волгу» дал. Но на том полустанке никого нет. Домик закрыт. Я заехала даже в сельсовет, к участковому...

— Олегу?

— Ну не знаю, как там его зовут, но он очень на меня подозрительно посмотрел, спрашивал, зачем я интересуюсь, я же не могла ему все рассказать. В общем, никто не знает, где твоя Маша. Может, говорят, в райцентр уехала. Сделаем запрос. Постараемся найти.

— Мам, это очень важно для меня... Я не хочу снова упущенную возможность...

— Чего?

— Да ничего. Это я так. Теория есть одна. В университете изучал. Найди Машу, иначе я вернусь.

— Не вздумай! Тебя в тюрьму, меня в гроб! Этого хочешь?

— Мам...

— Я делаю все, что могу!

— Мам, этот участковый, Олег, он, скорее всего, что-нибудь знает.

— Он и сказал, что эту единицу на железной дороге сократили. И сказал, что сам посоветовал Маше уехать. Там каких-то бандитов рядом убили.

Так вот, их целая толпа на машинах приехала. Весь поселок на уши поставили.

— Блин!..

— Не блинкай! В общем, я думаю, Маша твоя правильно сделала. Если в райцентр уехала, значит, там мы ее найдем. У генерала серьезные связи.

— Выходит... я ее снова обманул...

— Сережа, я сама пока из дома уехала, ты меня пожалей!

— Да, мама... Никогда не думал, что буду бежать из своей страны от каких-то подонков. Не могу я жить как трус...

— Как там Зоя? Состарилась?

— Живее всех живых. Персональный германский пенсионер. Сто очков нашим бабушкам на лавочках сделает. На тебя обижается...

— На себя пусть обижается. Бандеровцы из-за нее мать убили... Меня, семилетнюю, к стенке поставили.

— Так она что, выдала?

— Пьяная она была, а когда наши подходили, и немцы и полицаи совсем озверели. Офицер съехал, заступиться за нас некому было. Она и ляпнула Фрицу своему, что мать хлеб партизанам пекла, а брат отвозил. Коля успел сбежать, а маме бежать было некуда.

— И ты меня к ней отправила?

— А куда? Там надежнее всего! Как она к тебе отнеслась?

— Хорошо, мама. Правда, хорошо.

— Ну ладно, пусть хоть немного из того — что должна — вернет. Пьет, небось, до сих пор.

— Мало-помалу. В рамках приличия.

— Смотри-ка ты...

— Мам, ты Машу...

Трубка загудела, кончился набор монет, которыми я «накормил» автомат перед разговором. Сгорели быстро и много. Перезванивать я не стал. С мамой всякий раз можно говорить долго, но самого главного я бы все равно не узнал.

* * *

Я ничего и никому не открою нового, если скажу: можно жить в одном городе и годами не встречаться со знакомыми людьми, а можно выехать на просторы планеты и тут же столкнуться лоб в лоб с однокашником, однокурсником, сослуживцем, с тем, с кем ты был в одном детском садике и сидел, что называется, на параллельных горшках. Я назвал это «парадоксом путешественника». Видимо, не только в квантовой физике чего-то там к чему-то еще притягивается. Но и люди, подвержденные, с точки зрения некого высшего взгляда, хаотичному движению, притягиваются друг другу. Особенно если они далеко от общей языковой зоны притяжения.

Так в одном из баров Франкфурта, того что на Майне, я столкнулся со своим одноклассником. Точнее, не в баре, а у таксофона, когда звонил маме. Вышел я, конечно, из бара. А во Франкфурт приехал без каких-либо целей. Я вообще уже три недели жил без каких-либо целей. Тетя Изольда отправляла меня раз в неделю в один из антикварных магазинов, куда я отвозил трофейные «штучки» дяди Фрица. Вообще, надо заметить, что Фриц был не дурак. Свою возлюбленную он отправил «на принудительные работы» в Германию еще в конце 1943-го, когда понял, что дальше будет только хуже. Сам получил «необходимое ранение» и демобилизовался в 1944-м, когда шансы вермахта были равны нулю. А прихватил с собой только то, что действительно имело ценность, то, что теперь Изольда Крюгер (урожденная Карпенко) понемногу продавала. Продавала, скорее, не из соображений улучшить материальное положение, а для того, чтобы дать мне заработать, потому как от проданного я получал процент. Так, видимо, она считала, безобиднее помогать мне — бездельнику — деньгами. И я вынужден был принимать эти правила игры. В тот день я отвез во Франкфурт золотой портсигар царских времен с витой монограммой и два кортика: один морской русский с наборными ножнами конца XIX века и кортик какого-то аса люфтваффе. К своему стыду, как историк, я не знал, что кортики носили и немецкие офицеры ВВС. Сдал без труда все это в магазин, где меня уже знали, как знали и Изольду Крюгер, иначе она бы меня туда не отправила. Первый раз я поехал туда с сопроводительным письмом. Но о чем я?

После магазина я обычно шел в бар. Что еще делать русскому бездельнику в Германии? Пропустить пару кружек пива или сразу залиться шнапсом. Между первой и второй, пока еще в трезвом уме, я звонил маме, чтобы услышать, что поиски Маши так и не увенчались успехом. Меня стала одолевать мысль, что нужно бросить все и срочно лететь в Россию. Но мама предостерегала: следователи уже не ходят, зато ходят какие-то подозрительные парни с бычьими шеями. И я тут же вспомнил самодовольную рожу в квартире Саши Хлебоделова. Пережду еще... Хотя почему я не мог этого сделать где-нибудь в глухой российской деревушке? Мысль эту мой мозг обработать не успел из-за «парадокса путешественника».

— Маме привет передай!

Я удивленно оглянулся и тут же узнал за своей спиной улыбающегося одноклассника Диму Попова.

— Дима, какими судьбами?!

— Это ты как сюда попал?

— К тетке приехал...

— А я тут работаю.

— Кем?

— Ну, стройматериалы туда-сюда отправляем, — неопределенно ответил Дмитрий. — Я смотрю, из бара знакомый парень вышел, даже не поверил. Потом уж услышал, как ты по телефону говоришь... Пошли обратно! Это дело надо обмыть, сто процентов!

— Пошли...

Что делают двое русских на чужбине, особенно в Германии, после неожиданной для обоих встречи? Методично напиваются, рассказывая друг другу о том, как складывалась жизнь за весь период, пока не виделись. Потом вспоминают, что Германию победили, и удивляются, почему же тут живут лучше. Потом обещают еще раз взять Берлин, а заодно еще Мюнхен, Франкфурт, Дрезден и все, что под руку подвернется. Потом спорят, кому платить за выпитое, и в заключение глуповато пристают к немецким фрау, вывалившись в обнимку на улицу, чтобы утром ничего не знать, кроме головной боли...

И я не помнил самого главного: как Дима посадил меня в автобус и как я уснул в одежде на втором этаже? Не помнил, видела ли меня тетя Изольда. И второе, не менее важное: я не мог вспомнить, как найти Дмитрия, хотя отчетливо помнил, как он мне подробно объяснял. Где-то в кармане должна была быть салфетка из бара, на которой он мне писал свои координаты, но ее не было. Зато были пятьсот марок, которые (я с трудом вспомнил) он сунул мне в карман, когда я пронюнил, что мне нужны билеты в Россию. Именно за это было очень стыдно...

Тетя Изольда встретила меня с довольной ухмылкой.

— Погулял на славу, — профессионально определила она.

— Не поверите, одноклассника встретил.

— О! То ли еще будет! Думаю, будет вторая оккупация Германии. Рюмку выпьешь?

— Н-не-е... Кофе.

— Выпей, а то помрешь. А потом уже кофе.

Она как хозяйка положения плеснула мне и себе виски, потом поставила на горелку турку с кофе.

— Ну, давай, пусть тебе полегчает! — повод не важен, важно, что в ежедневном принятии ее дозы надо составлять ей компанию. И словно в ответ на мою мысль: — Представляешь, я вчера одна пила! Как алкоголичка! Ты уехал, Хеди (соседка-пенсионерка) не пришла. Чокнулась с канцлером, он по телевизору выступал.

— М-да... — это все, что я мог сказать.

— Что м-да... поднимай давай — и пей. Расквась мозги.

— Мне надо в Россию.

— О, придумал. Твоя мать сказала, что тебя там могут убить.

— Вы звонили?

— Звонила.

Тут уж я подхватил стакан и единым залпом его осушил.

— По-русски, — усмехнулась тетя, сделав небольшой глоток. — Вот и кофе твой убежал!.. — ринулась к плите, словно ей было двадцать, а не семьдесят.

Несколько глотков горячего кофе хоть и с пробуксовкой, но вернули меня хотя бы к возможности воспринимать этот мир.

— Я устал бояться... И... я все равно боюсь... — признался я после третьей.

— Ты вот что, — вдруг стала очень серьезной тетя, — езжай в Бад-Хомбург. Там есть небольшая церковь Всех Святых. Красивая. Ее после войны заново открыли, а построена еще при царе. Нашем царе. Он, говорят, сам на закладке был.

— Николай Второй?

— Ну а кто? Вместе с Александрой Федоровной. А архитектор знаешь кто? Знаменитый Бенуа!

Я с удивлением посмотрел на свою фашистскую тетю, она заметила и быстро разгадала мой взгляд.

— Ты не смотри, что я хохлушка из мазанки. Фриц, он хоть сам недалекого ума был, больше по коммерции, он меня приучил музыку хорошую слушать: Бетховена, Моцарта, Вагнера, Грига... А я уж в отместку потом ему сама выслушала и его заставила: Чайковского, Глинку, Рахманинова... Последнего он шибко полюбил. И книги мы друг другу на ночь читали. Так что ты меня дурой-то не держи... И в Бога я верю, хоть и тварь грешная, потому как без Божьей воли не жить бы мне, точно...

— Да уж я вас дурой точно не держу, — смутился я. — Просто вы такая разная.

— Ну... была неграмотная. Но университеты не обязательно кончать, чтобы «Лунной сонатой» восхищаться. Не так, скажешь?

Я промолчал. Тетя вдруг решила нарушить свою ежедневную норму и налила еще по одной.

— Я по ночам порой плачу, — призналась она. — От жизни своей беспутной. Потому езжу иногда к отцу Димитрию, он там, во Всехсвятской-то и служит. Потом легче немного. Так ты поезжай...

— Поеду, я давно хотел.

— Поезжай. Да поставь Богу свечу, что жив остался.

И еще долго мы беседовали с тетей. Ее рассказы о жизни в послевоенной Германии дорогого стоили. О том, как нагло вели себя в своей зоне оккупации американцы, о том, как покупали они с Фрицем первый автомобиль, о том, как учили они языки.

— А тот офицер, что жил в вашей хате, он жив остался? — спросил я вдруг.

— Да кто ж его знает? Фриц над ним потешался. Нельзя музыканту ротой командовать. Тем более на Восточном фронте. Скорее всего, загинул где-нибудь в России. Что? До сих пор меня фашистской подстилкой считаешь? — вскинула она вдруг хмельной взгляд.

— Все сложнее, — ответил я.

А она налила снова.

— Я много об этом передумала. Очень... И если с той стороны смотреть — то никак по-другому и не назовешь. А если выше встать? Но разве можно встать над такой страшной войной? Думаешь, тут все так гладко и тихо было?

— Не думаю. Дрезден вон не разбомбили, а буквально расплавили...

— Ну... здесь-то тише было... Франкфурт-то даже после войны столицей хотели сделать. Тут же штаб-квартира американцев была. А во время бомбежек больше пяти тысяч погибло...

— Ну... у нас только в Ленинграде — миллион...

— Да знаю... По отцовской-то линии много у вас воевало?

— Два дяди до Берлина дошли... От Сталинграда.

— Ух ты!

— Ага. Рассказывать не любили, но вот так, за бутылочкой, иногда разговоришь... Когда я спросил, что на войне главное, дядя Боря как-то ответил: научиться жить. Не выжить, а именно научиться жить...

— И Фриц не любил войну вспоминать. Не забывал, не мог забыть, но вслух не особо вспоминал. Часто говорил: правильно, что нас русские победили. Все, говорил, честно было.

— Тетя Изольда, простите, если вопрос не к месту, а дети-то у вас были?

Тетя содрогнулась и тут же стала обычной старушкой. На глаза выступили слезы. Она стала смотреть в желтые блики разлитого по стаканам виски, словно там можно было увидеть ту самую истину.

— Был... сын... Джонни... Разбился на машине...

— Джонни?

— Мы назвали его в честь американца, который меня не выдал — репатриировать.

— Американца?

Она посмотрела на меня сквозь слезы:

— И там люди... И там войны не хотели. Это ж толстосумы все затеяли. Гитлер — так, игрушка. Опасная игрушка, Фриц так говорил. А я вот Изольда стала. И никак иначе... Налей-ка еще, сынок, помянем... Обоих Джонов.

Она назвала меня «сынок», и я не знал, как к этому относится. Обида матери и боль моей страны заслоняли от меня боль тети Изольды... Я молча налил.

— Гитлер капут, — жестко сказал я.

— Капут, — запивая виски слезами, согласилась она.

* * *

Всехсвятский храм в Бад-Хомбурге был великолепен. Он располагался в городском парке. Красные кирпичные стены, украшенные изразцами с двуглавым византийско-русским орлом, золотая маковка в центре, Спас Нерукотворный над входом и шестикрылый серафим под ним... И — как новенькая. Хоть и строили ее в конце XIX века, стиль относился к веку XIV, никак не раньше... Уютная, как домашняя. И всем своим видом и убранством встречающая: я православная! Увидел — словно островок русской земли!

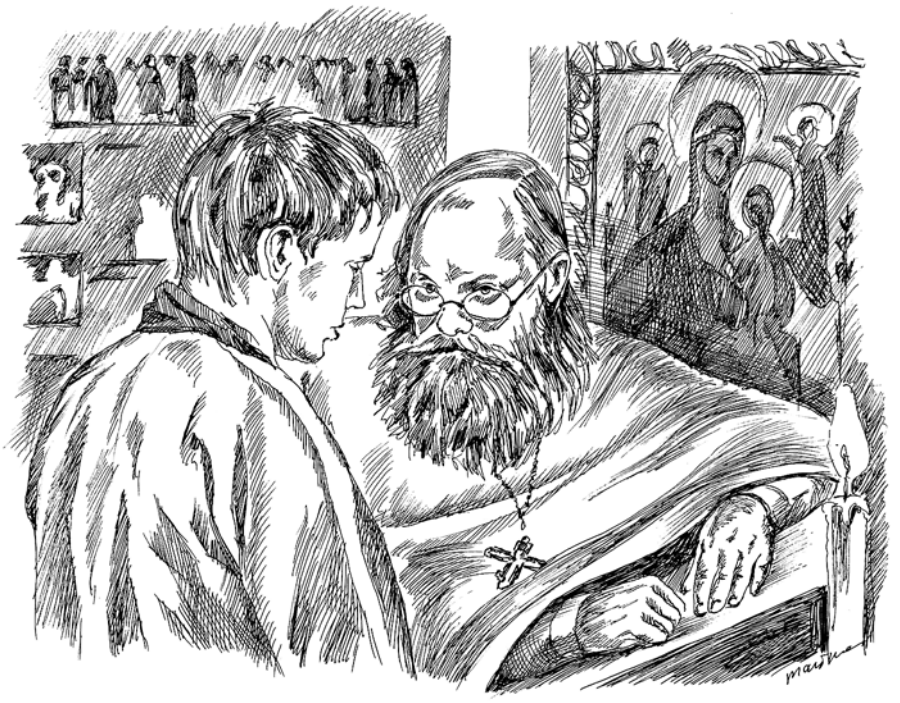
И, как потом выяснилось, мне повезло, службы в церкви не каждый день. Прихожан немного. На воротах — расписание. С беглого взгляда понял, я попал на службу, которая бывает здесь всего два раза в неделю. Воистину: если идешь к Богу — не промахнешься!

К отцу Димитрию я подошел после службы, точнее, после того, как все прихожане получили от него благословение и ответы на все вопросы. В общем образе священника сразу угадывалось главное: человечность. Или, как правильнее говорить, любовь к ближнему. Он терпеливо выслушал всех старушек: и на русском, и на немецком. А когда подошел я, сразу оценил ситуацию...

— Если вы не против, давайте начнем с исповеди...

— Я не исповедовался полгода... Не меньше...

— Вот с этого и начнем. Великий Пост. Первая неделя.



— Господи, прости! — ужаснулся я тому, что так долго жил по течению, потеряв главное.

И потом я выплакал отцу Димитрию всю боль, все грехи свои, словно хартию свою читал, и все, что было хмельного выпито мною вместо благодати, и одного не мог выплакать и простить себе — страха. Не страха Божьего, а трусливого — человечьего! Вырыдал. И то захлестывало меня бессмысленной, безумной отвагой: вот поеду, всех порублю в капусту; то снова накатывало — закатают в асфальт, и кто позаботится о старушке-матери. И боль за растерзанную Родину.

— В притчах сказано: «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его» (Притч. 10:24). Не бояться надо, а готовиться к испытаниям. Я вот как-то тоже боялся… Смеяться будете, летать боялся. А лететь надо было. Читал в то время книгу Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Там и дневники, и мысли его на каждый день. И перед самым полетом как раз начал новую главку. А начиналась она с таких слов: «Не бойся лишений телесных, бойся лишений душевных. Не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, питья, сладостей, одежды, жилища, даже самого тела; бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. *Не убойся от убивающих тело, души же не могущих убити* людей (Мф. 10:28)». Наизусть с тех пор помню. И ведь просто все! И знал это! Но из уст батюшки нашего всероссийского прозвучало как укрепление! Да и вовремя! Ведь без Промысла Божиего ни един волос с нашей головы не упадет! Так все просто! Надо просто верить в это всем сердцем, и любой страх отступает! Я не говорю, что надо на рожон лезть, но страх плохой советчик, плохой попутчик. А если смерть даже стоит на пороге, что проку в страхе? Тут уже о другом надо думать… Молиться успевать…

— И вы перестали бояться летать?

— Перестал. Теперь и летаю много… Да и вообще бояться перестал. Все в руках Божиих. У апостола Марка сказано: все возможно верующему! (Мрк. 9:23) Больше боюсь умереть не по-христиански.

И как-то легко и спокойно мне стало, так, словно сам Господь мне через доброго батюшку Димитрия сказал: «Я с тобой, сыне». И мне — блудному сыну — стало не по себе, вновь — как тому Адаму, что спрятался после первого греха. «Адам, где ты?» А куда скроешься-то от наготы своей духовной?

Я рассказал отцу Димитрию о студеном болоте. Он немало подивился, но в ответ мне рассказал о благодатных местах, где совесть наиболее возопит человеку. А я следом поведал, как часто просыпаюсь по ночам в холодном поту от ужаса за многие поступки, которые совершил. И вдруг вспомнил, как на уроке литературы нам долбили цитату из Достоевского: «Совесть оживает ночью, она кричит от боли и одиночества, она вершит над собой страшный суд. В кошмаре снов срываются все и всякие самообманные маски». Выходит, не зря долбили…

— Чего же теперь ждать в России? — опечалился я.

Отец Димитрий улыбнулся, словно не понял моей печали, и ответил:

— Оптинские старцы учили: зло всегда забегало вперед, но не одолевало, разве только где попускал Господь, и попустит к пользе нашей душевной и к испытанию христианского терпения.

— Умом понимаю… Сердцем… А смириться не могу!

— Ну и не надо! Господь и так все уладит. А я вот в России побывать хочу.

— Неужто не были?

— Не был.

— А говорите так хорошо по-русски.

— Помощь Божия и воспитание родительское.

— Так вы не Московского патриархата?

— Русская православная церковь за рубежом... Но пусть вас это не смущает, вот увидите, на скорбях, о которых вы рассказали, Церковь вновь будет едина. Точно вам говорю.

— Дай Бог... А у меня тетя замуж за фашистского солдата вышла. Он, правда, еще в сорок четвертом по ранению демобилизовался...

— Да тут ведь, как и в России, почти каждую семью Вторая мировая задела. Молчат немцы. В землю смотрят, когда с ними говоришь об этом. Но, боюсь, не всегда так будет. В истории как: если маятник сильно качнули в одну сторону, он качнется и в другую.

— А у нас всех собак на Сталина вешают...

— Если власть себя чувствует нелегитимной, неправедной, ей обязательно надо «сплясать» на костях предыдущей власти. Но тут они вместе с водой выплеснут ребенка. Начнут со Сталина, а придется пересматривать результаты послевоенного мирового устройства.

— То есть Победы...

— Верно. Самое мерзкое, что делают это те, кто и развязал эту войну. И здесь, и за океаном, и у вас...

— Батюшка, вы позволите, я закурю? А то давно уже хочется...

— Я, конечно, не одобряю, но курите. Это же ваш выбор. В конце концов, я слышал: и Иоанн Шанхайский курил...

— Кто это?

— Думаю, в ближайшее время его прославят в лике святителей. Из того же рода вышел Иоанн Тобольский.

— Так это же наш! Сибирский святой! Он был последним в синодальный период прославлен. В тысяча девятьсот шестнадцатом году!

— Точно! Вот видите, один род двух таких людей дал.

— А Иоанн Шанхайский, он что, в Китае?

— Служил и в Китае, а почил в Америке. В Сиэтле...

— Точно говорят, что земля круглая.

— Господь всем правит, кроме свободной человеческой воли.

Я все же не сдержался, закурил. Вспомнил про деревенскую кликушу бабу Нюру. А ведь права была! И вспомнил, как сейчас печатают в газетах астрологические прогнозы на каждый день. Ведь и это обещала! Рассказал о ней отцу Димитрию. Он не удивился, а только заметил, что в конце времен много простых людей должны пророчествовать.

— Так мы что — в конце времен живем?

— А вы не чувствуете?

Я прислушался к себе, но объема знаний тогда мне еще не хватало, только смутное предчувствие несправедливости всего происходящего. Так ведь и в семнадцатом году, и во время гражданской войны такое у людей было.

— И что делать? — с тревогой спросил я отца Димитрия.

— Молиться, трудиться и держать ухо востро.

Так и сказал: «держать ухо востро». Потом пояснил — внимательнее быть ко всему, не пропустить, как под видом какого-нибудь миротворца и лжечудотворца в мир явится Антихрист.

— Горбачев у нас миротворец, — криво ухмыльнулся я.

— Мелковат он. Так, мелкий бес. Он только прислуживать может.

— А я думал, у вас тут его все почитают и уважают.

— Вы не первый, с кем я говорю из бывшего СССР. Уже давно понял, что не Богом он меченый. Но я — один из тысячи. За развалами берлинской стены еще не все и не все увидели, что дальше будет.

— А что будет?

— Здесь? — Батюшка тяжело вздохнул. — Содом и Гоморра. Пресытилась Европа свободами и комфортом. Дальше только разложение. Дешевую рабочую силу найдут в Азии да в Африке, вот вам и орды Гога и Магога.

— А в России? — вскинулся я.

— Я не пророк. Аналитик больше. Думаю, все от народа зависит. Но точно знаю: сейчас у вас опьянеют все от свободы, и многое на этом потеряете.

— Так ведь столько храмов по Руси восстанавливать начали!

Еще тяжелее вздохнул отец Димитрий.

— Так вон, — кивнул он на церковь, где только что служил, — красота какая, а на службе едва два десятка человек бывает... Главное — не стены, главное, чтобы вера, как стена... Только тогда Россия выстоит. И каяться надо. Всему народу каяться надо. Столько безбожия было.

— Благословите, батюшка, ехать в Россию... — сложил я в поклоне руки.

— А страх как же?

— Отступил. Бог не оставит, — уверенно сказал я.

— Бог благословит, — перекрестил священник мою покаянную головушку. — Приезжайте еще, рад буду вас видеть.

— Спаси Господи, батюшка.

* * *

Маме я решил не звонить, а вот тетю обойти здесь не мог. Изольда Крюгер словно ждала этого разговора. Она еще до него погрустнела, заметно осунулась и даже не стала пить свою ежедневную дозу. Сварила мне и себе кофе.

— Я знала, что ты все равно поедешь. Только порадовалась, что не одна. С Хеди-то говорить не о чем. Фильмы обсуждать да пенсию ее.

— Я еще приеду, тетя.

— Боюсь, — вздохнула она, — до следующего твоего приезда могу и не дожить.

— Да что вы такое говорите! Вы выглядите на все сто!

— На все сто грамм! — улыбнулась-подхватила. — Проспиртованная, потому и выгляжу!

— Я вовсе не это хотел сказать.

— Да понимаю...

— Мы с невестой вместе приедем, если не прогоните.

Изольда Крюгер, урожденная Зоя Карпенко, тяжело вздохнула. Так, словно в эту минуту надо было выбирать: быть или не быть. Яркие ее глаза словно погасли. От бравой молодящейся вдовы осталась обычная старушка.

— Знаешь, я ведь всю жизнь одна. Всю. Моя вина, но так тяжело... Да, Фриц делал все, чтобы этого не было. Я все время удивлялась, зачем он меня с Украины тащил, когда тут полно было смазливых фрау. Выходит, любил. Видишь, и фашистам любить надо...

Мне захотелось ей сказать, что при всем при этом они сжигали наши города и деревни так, что стоит задаться вопросом: а знакомы ли им хоть какие-то человеческие чувства? Но... промолчал. Тете и без того было плохо.

Наконец она потянулась за своей дежурной бутылкой.

— Давай, чего уж там...

— Думаете, поможет?

— Нет. Но так все равно легче.

— Родственники его меня не очень-то приняли. А я не лезла. Язык с трудом давался. Все равно ведь деревенщина безграмотная была. Это твоя мать всю жизнь учиться хотела, а я только здесь поняла, что придется. Чтобы дурой последней не выглядеть и Фрица не подводить. Он-то с тросточкой ходил после ранения. Солидный... — улыбнулась в себя. — До конца жизни хромал. Кость там ему раздробило так, что у нас-то бы вообще ногу оттяпали, а их немецкие хирурги ногу ему спасли... И вот, как ни крути, хоть и с Фрицем и с Джоном я была, но все равно одна. Джонни был утешением... А когда его не стало, я пить начала. Если бы не Фриц, сгорела бы. А теперь вот живу в пустоту.

— Зачем так говорить?

— Поймешь когда-нибудь... У всякого такое может быть.

«Да честно говоря, у меня уже такое есть, — задумался я, — когда вдруг я стал не нужен своей стране. Со всеми своими знаниями, прочитанными книгами. Впереди оказались какие-то хапуги, моральные уроды, аферисты и спекулянты со своим ущербным мировоззрением».

— Тут важно другое, важно, нужна ли тебе и таким, как ты, страна, — философски заключила тетя. — Представь себе, если б немцы после войны руки опустили? Поводов у них не меньше было. А они, как муравьи, работали. Каждый на своем месте. И не роптали. Конечно, у них каждый на себя работал, но все вместе они все равно на страну работали. Кстати, в ГДР также. Там ведь медицина, образование, как и у вас, бесплатными были. Продукты копейки стоили. За жилье они почти не платили. Свои преимущества. Есть у немцев чему поучиться.

— Не надо было им к нам лезть...

— Не надо было, об этом и Фриц до конца жизни говорил.

— Не надо было Гитлера канцлером выбирать.

— Ты что? — вскинула брови тетя. — Такой наивный? Ты думаешь, если б не было сил, которые за ним стояли, он бы смог занять хоть какое-то место в политике? Они ж хотели его руками вашу Совдепию прикончить. Да вот у него тоже свои соображения имелись. Мне приходилось слышать, как местные ветераны говорят между собой, что с русскими не воевать, а объединяться надо было. Мол, не было бы сильнее армии.

— Упаси Бог, с фашистами объединяться...

— Ну вот ты мне скажи, можно ли на тебя вешать вину за тех, кто сейчас в Кремле вашем хозяйничает?

— Н-ну...

— Вот и немцев нельзя всех фашистами считать. Я за эти годы очень разных видела.

Я в очередной раз удивился ее рассуждениям. Видимо, так и осталась она между двух миров. Точнее — мировых систем. Она между тем махнула рукой на политику и снова спросила:

— Поедешь?

— Поеду…

— И правильно сделаешь. Только не лезь на рожон.

— Отец Димитрий то же самое сказал.

— Хороший он человек.

— Да.

— А ко мне точно приедешь?

— Точно.

— Я визу-то гостевую тебе снова сделаю…

— Спасибо.

— И вот что, Сергей, возьми денег. Я много не дам, но тебе все равно нужны будут. Возьми, будь ласка.

— Спасибо. Я потом верну.

— А зачем они мне? На шнапс мне всегда хватит и на свечку в храме. И на похороны свои. — Улыбнулась печально. — А хотелось бы перед смертью на родную землю взглянуть…

— Так поедемте!

— В какую страну теперь ехать? В Украину или в Россию? Да и боюсь я.

— Чего?

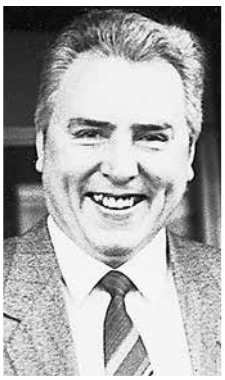
— Сердце не выдержит. Думаешь, я такая боевая старуха? Не-е… ой-хо-хо… Уже давно капут. От времени, как и от взора Божьего, никуда не денешься. Тут у меня место рядом с Фрицем и Джонни. Как раз — между. Тут и лягу. Хеди присмотрит. Ты-то хоть за меня свечу в церкви поставишь?

— Да о чем вы?!

— О смерти, милый, о смерти. О том, о чем каждый день помнить надо. Только полный дурак думает, что завтрашний день обязательно начнется. Только полный дурак думает, что если вокруг умирают и гибнут, то это всегда где-то в стороне, а не с ним. А уж в моем возрасте — и подавно. Вот только так и не знаю, как грех свой за предательство свое исповедовать. И отец Димитрий не знает.

Я опустил глаза: я тоже не знал. Но благодаря ей, благодаря нашим беседам я смог взглянуть на войну и с другой стороны. Но… остался на своей. С двумя дядьями, что оставили свои автографы на стенах Рейхстага. Это было в крови, в душе, в сердце, это была боль, которая теперь передавалась по наследству. Слезы, что подступали к моим глазам на братских могилах, это были слезы всех вдов, матерей, что не успели они выплакать, пока спасали и восстанавливали разрушенную страну. И простить я не имел права, потому что для этого надо было поднять из земли, из расстрельных оврагов, поднять с Пискаревского кладбища, вернуть из пепла сожженных деревень двадцать семь миллионов человек и — спросить их. Такое под силу только Богу.

Продолжение следует.



Николай МИТРОФАНОВ

Из «Автографа о себе»

…Мне трудно теперь сформулировать, как и какими путями приращивались в моих писаниях темы, как своевольно порой трансформировались некоторые из них, тем более что с самого начала своей по-настоящему сознательной жизни я с большей или меньшей интенсивностью действовал в журналистике, вступил в Союз журналистов СССР, несколько лет руководил литературно-драматической редакцией Всесоюзного радио, в 1990-е годы часто печатался в газете «Вечерняя Москва», где работал штатным обозревателем. Я был шеф-редактором журнала «Странствия и приключения», главным редактором издательства «Знание». Последние десять лет мною отданы «Московской энциклопедии», оригинальному изданию историко-биографического толка, о котором, сдается, будут немало говорить после его завершения примерно через год. В вышедших трех томах «МЭ» напечатано множество моих статей о знаменитых и неизвестных москвичах и гостях Первопрестольной — большинство их подписаны мною и потому легко узнаваемы…

Санта-Клаус — фигура истории и чудодей

Так уж исстари повелось, что Санта-Клаус возникает в свое урочное время заметно приободренным и решительным.

Он вновь дает понять, что за весну, лето и осень прекрасно отдохнул, а сейчас готов не только веселить публику и упражняться в оригинальных поздравлениях, но и баловать ее кое-чем существенным. Хотя пришелец со своим толстым мешком шумно суетится, всем становится ясно: прибывший гость — не какой-то простой массовик-затейник, а серьезный дядя-иностранец, по всей видимости, взаправду щедрый и энергичный. По живучим слухам, персонаж он состоятельный. Где-то в районе Северного полюса у него будто бы имеются неистощимые кладовые разнообразных подарков. Кому-то даже повезло ущучить из их обширного списка шикарную иномарку. Но это, правда, под вопросом, поскольку об этой сенсации сам дедок только один раз рассказывал какому-то безработному на Манхэттене.

Как бы то ни было, своей славой Санта-Клаус готов потягаться с кем угодно. В прошлом о нем сложено столько красивых легенд и трогательных рождественских историй, что кое-где он давно превратился в конкретного великана и красавца, которому подвластны стихии и которого преданно любят земные и инопланетные существа. По известным одному ему адресам человеколюбивый и сказочно богатый дедуля раскатывает на своем волшебном возке, запряженном четвер-

кой резвых оленей (а то и восьмеркой!) с ужасно ветвистыми рогами и мощными копытами, чтобы одаривать доверчивую международную ребятню ослепительно сверкающими игрушками и желанными обновками.

Конечно, все это вместе взятое — вечная обольстительная сага, знакомый миф, которым Большая Реклама стремится будоражить воображение потребительского мира. Но что правда, то правда — наш герой обожает всем нравиться. Ему все равно, на каком континенте радовать и восхищать молодое поколение неожиданными подношениями. Уж такой это широкий чудодей — космополит, беспощадный конкурент всех местных и региональных доброхотов, какие бы имена в Азии или в Африке они ни носили. Популярность этой фигуры, между прочим, возбуждает вопросы: откуда взялся этот легендарный симпатяга, регулярно выскакивающий в начале зимы на подмостки телестудий со своими любезными улыбками и лихими повадками неисправимого благодетеля?

Воспитанные нашими тактичными Дедами Морозами и Снегурочками, старавшимися угождать нам приятными лакомствами и завлекательными зрелищами, а то и — по-крупному — солидными движимостями и недвижимостями, мы тем не менее время от времени интересуемся биографией собрата нашего знаменитого красноносого дедушки. Как выясняется, специалисты по таким досье тоже не сидят сложа руки и в последнее время нарыли кое-что новенькое.

Старое-престарое и оттого почти забытое предание гласило: в одном из недальних государств, а скорее всего, в турецкой провинции Каппадокии, где обосновалась колония гонимых за приверженность к новой христианской вере, в одной добропорядочной семье случилась драма. Ее глава и опора, крепкий труженик, вдруг взял и разорился. Вместе с ним впали в нищету и три ни в чем не повинные его дочери — по возрасту почти невесты. Узнав об этом прискорбном факте, местный епископ Николай совершает благородный поступок — берет и подбрасывает в избу бедняков через дымоход три кошелька с золотыми монетами.

По воле случая попали они в чулки и башмаки, оставленные сушиться у очага. Вот отсюда пошел обычай у европейских барышень и пацанов выставлять у порога свою обувь и вешать у изголовья свои носочки. Куда — смекаете? — некто заботливый мог запросто положить ожидаемый подарочек...

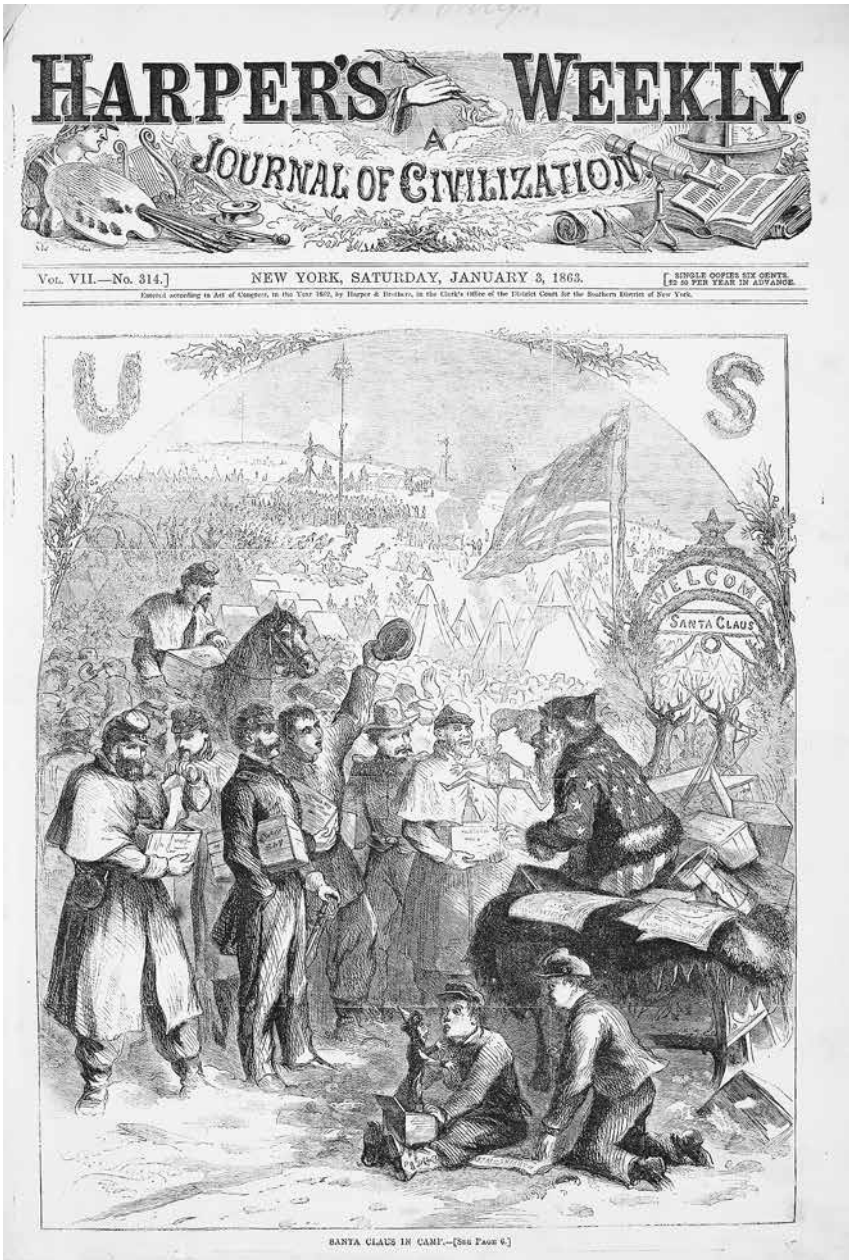
Поскольку главным заступником простых и часто неудачливых тружеников был святой Николай, его имя стало бурно трансформироваться в имя святого Николая — невидимки-волшебника, не забывающего присматривать за обделенными судьбой. Николай-угодник издавна считался самым народным и почитаемым святым на Руси. Так как святой Николай был покровителем моряков, его роль в жизни их семей определилась сразу и однозначно. Каждое благополучное возвращение из плавания приносило подарки детям. Само собой, оно превращалось в детский праздник! Уже в позднем Средневековье в портовых городах Северной Европы в день святого Николая (6 декабря по юлианскому стилю) школяры даже не ходили на учебу.

Вот тогда-то повсюду стали четко обозначаться грани возникшего праздничного дня в честь мудрого и доброго святого. Это был святой Николаус в Германии, святой Клаас в Голландии, святой Клаус в Англии. В образе старика с пышной белой бородой и в шубе уникальный персонаж ездил по улицам на белом коне или ослике с мешком за спиной. Со временем его визиты переместились на 25 декабря, на Рождество. В этот день в ряде европейских стран как раз начинался Новый год.

Добряк-дед тут же получил «рождественское» имя: Пер Ноэль во Франции, Бабо Натале в Италии, Юлеманд в Норвегии и т. д. Пришел обычай встречать Рождество с добрым Дедушкой Морозом в Россию.

Появление Санта-Клауса в Америке, считают, произошло в XVIII веке с голландцами, которые основали на восточной окраине континента город Нью-Амстердам, превратившийся впоследствии в Нью-Йорк. Популярный в местных городских кругах святой возникал в нем в новогоднюю пору на лошадке, на голове его была широкополая шляпа, во рту — трубка с длинным мундштуком. В стихах поэта К. К. Мура в начале XIX столетия подчеркивались новые выразительные черты облика нашего героя. Подобно сказочному персонажу немецкого фольклора, он теперь был облачен в меховой наряд, делающий его этаким «мохнатым» существом.

Все эти разрозненные части словесного портрета словно ждали своего художника. И он явился, молодой — от роду 22 лет — Томас Наст! Маэстро родился в небольшом баварском городке Ландау в семье тромбониста военного оркестра. Из-за размолвки с начальством отец почел за благо переселиться из Германии в Америку. Его одаренный сын рано проявил себя на творческом поприще. Сначала он рисует для газет, заменяя своими оперативными набросками опаздывающих в газетное дело фотографов. В 1859 году его охотно берет на работу журнал «Харперс уикли»,



вскоре посылающий его в Англию на чемпионат боксеров-тяжеловесов. Узнав, что его кумир Джузеппе Гарибальди вернул в Италию и возглавил там борьбу за объединение страны, он из Британии переезжает в район боев гарибальдийцев и ведет там зарисовки сразу для двух журналов — английского и американского.

А вскоре в суровые военные будни его затягивает новая журналистская командировка. Начинается гражданская война Севера с Югом, и Наст своими документальными штриховыми свидетельствами заметно поднимает патриотический дух американцев. Его роль в этом деле отмечает сам президент Линкольн. Генерал Грант, побеждающий на выборах, приписывает свой успех «карандашу Томаса Наста». В первую мирную пору Наст вводит в обиход фигуру осла как символа демократической партии и слона как партии республиканцев.

Разве удивительно, что, начиная с 1862 года, и образ Санта-Клауса, рожденный Настом, становится чрезвычайно популярным у американцев? Художник сделал несколько десятков рисунков на рождественские темы, которые стали безумно востребованными. Характерно, что он, не больно-то щадивший своих собственных интриганов и коррупционеров, с удовольствием развивал в своих работах мотивы общественного примирения, проявления в общественных делах доброй воли. Художник словно хотел дополучить ту долю творческого удовлетворения, которой лишила его работа в жанре сатиры.

Симпатяга Санта-Клаус, вышедший из-под карандаша и пера Наста, запоминается сразу и навсегда, с какими бы модификациями ты потом ни столкнулся. Пухленький седобородый жизнерадостный персонаж неоднократно менял свои места пребывания по воле своего создателя. Мы можем его увидеть в мастерской на Северном полюсе, где он ладит подарки для детей. Бодрячок-старикан появляется в военном лагере северян, где его легко было отличить по неизменному в «военных случаях» наряду — звездно-полосатой куртке и таким же штанам.

На конец жизни художника пришелся пик его карьеры. Президент Теодор Рузвельт назначил Томаса Наста генеральным консулом в Эквадор. К сожалению, там разыгралась эпидемия желтой лихорадки, от которой Наст и скончался в столице страны Гуаякиле 7 декабря 1902 года. Похоронили его в Нью-Йорке.

Юрий БЛИНОВ

Юрий Блинов — известный сибирский писатель, продолжающий традицию астафьевской прозы. Лев Аннинский неоднократно называл Блинова ямальским Джеком Лондоном.

Живет Юрий Михайлович действительно на Ямале, в лесотундре. Питается кореньями, ягодой и ягелем, мясо в пищу не употребляет, потому что жалеет медведей, лис, белочек и зайчишек.

А недавно задумал Блинов скрестить белого и бурого медведей и после такого смелого эксперимента уйти жить под землю к знаменитым норным отшельникам — сихиртя. Поговаривают даже, что заманила его к себе в нору красоты невиданной сихиртянка… Труден все же путь писательский…

Экие умницы

Рассказ

Рисунок Настасьи Поповой

Как-то, еще по осени, я совершенно случайно очутился в отряде изыскателей, обследовавших Харампурское месторождение нефти, что на севере Тюменщины. И при первом же серьезном выходе в поле попал в крайне опасную и щекотливую ситуацию.

Впрочем, все по порядку. Дело начиналось весьма нестандартно. Я, будучи студентом четвертого курса, отгуляв летние каникулы, вернулся в институт и, как обычно, всем потоком готовился к поездке в колхоз на традиционное копание популярной на всю страну картошки. Поездки в те застойные времена на сельхозработы на упомянутый выше овощ в нашем вузе, да и не только в нашем, а по всему Советскому Союзу практиковались неустанно и ежегодно, были чуть ли не нормой и считались обязательной, образцово-показательной помощью горожан селу. Даже Высоцкий никак в своем творчестве не мог ее обойти, писал и пел про нее любимую:

> Небось картошку все мы уважаем,
> Когда с сольцой ее намять.

Эта безвозмездная помощь загибающемуся тогда сельскому хозяйству широко пропагандировалась комсомолом, партией, правительством и предписывалась к обязательному и неукоснительному выполнению не только вузам, но и школам, предприятиям и другим, кроме оборонных, учреждениям. Посылали нас на две-три недели, а мы застревали там, как правило, на два-три месяца, другой раз батрачили до самых белых мух.

Только представьте себе: шлепать с работы, на работу по колено в вязкой грязи, жить на постое в задрипанном, грязном, продуваемом сарае или

в заброшенном клубе. Или, что еще хуже, у ветхой, немощной бабушки-старушки, у которой пол земляной, по углам паутина, из стен гнилые опилки сыплются, а то и вообще в подсобках коровников, свинарников вместе со скотом. Существовать без мытья, без бани, душа, ходить, спать в грязном, нестираном белье, отбиваясь от кусачих вшей, блох, дышать вонью от портянок, коровьих лепешек, смрадом от засранной уборной, жить в антисанитарных, в античеловеческих, так сказать, условиях. А когда уж совсем не повезет, то вкалывать на меже при зарядивших слякотных дождях, простужаясь, кашляя, сопливясь, заболевая ОРЗ, воспалением легких, туберкулезом, при способствующих этим хворям ветродуях, сквозняках, знобкому, сырому, пробирающему воздуху. И при этом жить под гнетом обязательного выполнения суточной нормы по выковыриванию из грязной, склизкой земли, складированию, гуртованию злосчастной картошки, крайне необходимой стране, колхозу, людям, скоту.

Кому это, спросите, приглянется, кому это надо, кто на такое с радостью сподобится?! Да никто, да никому не надо, разве что для отчета партийцам-коммунистам по выполнению плана, сидящим в тепле, не ступающим дальше двери своего кабинета. И, естественно, каждый студент искал повод отделаться, отбояриться от этих принудительных работ, от этой опостылевшей поденщины, от этого рабского, ничем не заслуженного ярма.

Вот и я, впрочем, не ярый противник сельхозработ, поскольку сам вырос в селе, не понаслышке знал, как колхозникам там живется, как им это все достается, но тоже смотрел на сторону, не настойчиво, не суетливо, но искал возможность избавиться от этой поденщины. Неожиданно и случай представился. Уже перед отправкой зашел я на кафедру геологии и разведки, и на глаза попалось объявление о срочном приглашении желающих на сезонные полевые изыскательские работы на Ямал в район Крайнего Севера. Я мигом подхватился — и к завкафедрой профессору Ларнину.

— Иван Федотыч, прошу вас, очень прошу, отправьте. Я готов в тайгу, в экспедицию, хоть сейчас...

— Постой, постой, ишь, прыткий какой, — останавливает он меня и строго спрашивает: — Сначала скажи, как у тебя с учебой? Нормально. К-х-ммм. Ну а с полем как? Нет, не с картофельным, с геологическим? Знаком? Знаешь, что такое тундра, лес, болота?

— Да я их!.. Хм-хм... — на миг замешкался я, но тут же затараторил без зазрения совести, хотя тундру и не нюхал, и в глаза не видел: — Знаю, а как же. Я же на Урале в тайге родился, вырос. Направьте, Иван Федотыч, не пожалеете.

— Постой, постой. Спешка нужна при ловле блох. К-х-ммм. А с инструментами как?! Тахеометр, нивелир, теодолит, бур, мотобур хорошо знаешь?

— Иван Федотыч, да я!.. У нас же это... ну, практика была, я все на отлично сдал, — совсем немного приврал я для убедительности. Пятерок-то не было, четверки одни, но приборы на самом деле освоил неплохо.

— Так-с, что бы еще спросить у тебя. К-х-ммм. А вот с огнестрельным оружием ты как? Там ведь, где отряд, зверей полно, места-то неизведанные, по ним впервые пойдете, вдруг нападет хищник какой?

— А как же, Иван Федотович, я с детства, можно сказать, с ружьем. Мне, когда еще в школу ходил, ружье дед Кучин подарил. Мировой старик, знаете. Так я с ним весь Урал вдоль и поперек... Мы с ним рядом жили и на заимке, и...

— Ну-ну, врать-то! — остановил он меня. — Весь Урал он... Весь Урал за всю жизнь не обойдешь. А вот что с ружьем, говоришь, на «ты», это хорошо. Что же, собирайся. Освобождаем, значит, тебя от сельхозработ и направляем в экспедицию. Смотри только, не осрамись там, институт не опозорь, в дело вникай, слушай полевиков, народ там бывалый, всему научат. Вот тебе на руки приказ, как, говоришь, твоя фамилия? А-а, знаю, а звать как? Владимир. Так и запишем, — вписал он мою фамилию и имя в заготовленный заранее документ и поставил размашистую подпись. — По этому приказу получишь в деканате командировку, а в бухгалтерии командировочные. А вот в этой бумаге — как доехать, к кому обратиться. Я начальника отряда в известность поставлю. Звать его почти как меня, Иван Федулыч. Отряд-то туда недавно перебазировался и уже к работе приступил, так что не мешкай, собирай рюкзак в дорогу — и вперед, вдогонку, так сказать. К-х-ммм.

И вот я, пропилив на поездах без малого четверо суток, без особых приключений, если не считать «скоростного», прославленного в то время, рабочего поезда в конце пути, а именно из Ноябрьска до станции Пурпе, до расположения экспедиции. Не до самого конца, естественно, а только до того места, куда максимально железка была проложена. «Скоростного» я для смеха употребил. Поезд ехал, даже не ехал, а тащился, как беременная черепаха, ну от силы километров десять в час, каждому столбу кланяясь, на каждом переезде останавливаясь. Пропуская действительно скоростные, мчавшиеся, как ветер, то-

варные составы со стройматериалами, нефтяным оборудованием, техникой и прочими грузами. Шло великое освоение нефтяных богатств Севера Сибири.

Да и бог бы с ним, что тащился, а не ехал, беда в том, что в вагоне сесть было некуда, народу ехало тьма, набилось, как сельдей в бочку. Пришлось всю дорогу стоять, тесно прижавшись друг к другу, вдыхать вонь, запах пота, алкоголя, перегара от ехавших на работу вахтовиков, буровиков, геологов, всякой швали по паре, ворья, бичей и настоящей движущей рабсилы. Мат, скандалы, ругань, мордобой не утихали. Одна шарага, или компания, чуть ли не по головам шла, перетекала к другой, та к третьей, знакомились, делились, играли в карты, пили водку, пели, ржали, как лошади, курили, заполняя дымом едва ли не весь вагон. Затевали ни с того ни с сего разборки, кто круче, кто первей, кто больше. Дал, прошел, пробурил, добыл и так далее и тому подобное. Остановить скандалы, потасовки было некому, милиции еще не было, приходилось терпеть или, объединившись, самим разбираться с зачинщиками. В конце пути ноги не держали, и если бы не спины таких же, как я, горемык, давно бы оказался на заплеванном, в окурках и блевотине полу. Из Пурпе до отряда добирался частью на попутных, частью пехом, на 11-м, так сказать, маршруте — на двух ногах то бишь.

В отряде встретили хорошо, окружили, руку жали, спрашивали с юморком: «Как там на земле дела, войны нет, народ не мрет? Хрущ кукурузу всю посадил?» Я глядел на них во все глаза, думал, вот ребята смелые, ничего не боятся. А Вася Ключин, известный в отряде балагур и выпивоха, перехватил инициативу, оттащил меня в сторонку и на полном серьезе спросил:

— Ну как, привез?

— Чего? — оторопел я. Я его впервые видел, а он?!

— Чего, чего? Не финти! Ты что, пацан, что ли? Что, не знаешь, что за приезд полагается? — чиркнул он характерно себя по горлу.

— Ну-ка отцепись от него! — рявкнул неизвестно откуда вынырнувший начальник отряда. Васю как метлой смахнули, а начальник добавил:

— Ты его не слушай. Тот еще обормот, — и повел меня знакомиться с отрядом.

Как потом оказалось, отряд действительно состоял из опытных, в возрасте работников, я один молодой, неоперившийся салага — студент оказался, да еще молодка Инесса по профессии геолог, только что окончившая институт и впервые по распределению выехавшая на работу в составе изыскательской экспедиции.

Отряд разбил лагерь и обосновался на высоком берегу реки Харампур, что, для сведения, находилась в Таркосалинском районе Ямала. Место, в смысле природного ландшафта, было подобрано великолепное. Лагерь стоял на песке, со всех сторон его обступали богатырские, мохнатые сосны, ели, кедры. По земле стелились кустарники черники, голубики, ежевики, пушицы и ковром — мягко поскрипывающий, серебристый мох — ягель. Ступишь на него, как на пружинистую перину, а он скрип-скрип, жух-жух. Берег реки тоже песчаный, сухой, по откосу местами усыпанный пнями — выворотными, суковатыми стволами — «демонами». Река средней мощности, красива своими изгибами, излучинами, и хорошо, под самым боком, только не ленись, спустись по почти отвесно изготовленным сходням — и можешь купаться, плескаться, пить взахлеб речную, еще не замазученную чистую воду-водичечку. Не нравится речная — тут же по склонам били родники, в них вода еще лучше: холодная — зубы стынут, прозрачная, что слеза ребенка, вкусная.

Жили изыскатели в заранее изготовленных строителями землянках. Только не совсем в таких, какие существует в нашем представлении: не целиком в земле то

есть, а наполовину. Полстены с окнами и крышей — на поверхности, а полстены с полом — в земле, и были целиком устроены из добротных свежесрубленных местных сосны, ели, кедра. Пол и потолок тоже выстланы ими, только распиленными вдоль на две части и уложенными лицевой частью наружу. Запах смолы и озона не уходил из таких полуземлянок-бараков (землянкой рука не поднимается назвать), стоял плотно, смачно, одуреть, не перенюхать, не насытиться.

В соответствии с тогдашней модой и молодостью я заявился в отряд в брюках клеш, подпоясанных широким офицерским ремнем, и в ковбойской широкополой шляпе с высоко и лихо загнутыми полями. Это привело встречающих к немалому изумлению и немедленному присвоению мне прозвища Ковбой. Что в дальнейшем послужило поводом к подтруниванию и незлобным насмешкам. Особенно преуспела в этом молодая только испеченная инженерша — геологиня Инесса.

Не скрою, что сразу при знакомстве я ее выделил и в дальнейшем уделял ей знаки внимания, даже пытался ухаживать. Инесса действительно была симпатична, тем более одна в отряде, и этого стоила. Она же, в силу недавнего получения ею красного диплома инженера-геолога, считала себя на голову выше какого-то студиуса и не обращала на меня никого внимания, безмерно заносилась и доставала меня больше всех. Была она на удивление пропорционально сложена, стан, талия, ноги, длинная, по-лебединому изящно изогнутая шея — все говорило о ее породистом и благородном происхождении. Ей бы не в поле прозябать, а где-нибудь в столице балы-маскарады устраивать, быть львицей общества, а она здесь, в рутине, с грунтами, с землей возится. И вообще, казалось, она не для крайних, суровых условий Севера создана. И находится здесь как-то, мягко говоря, не по месту, не соответственно. Выглядит слишком знойно, и загар не неровный темный северный, а какой-то мягкий, гладкий, глянцево-шоколадный. Как она, где успела такой загар заполучить, не мог понять я, знал, что она с начала лета в экспедиции, ни на какие юга не ездила. Кожа, что ли, у нее какая-то особенная? Глаза тоже необычные, как у столбовой дворянки, что ли, — пронизывающие, завораживающие, губы сладкие, строго очерченные, страстные. В общем, чего долго говорить, красавица, и грех было в такую не втюриться, и ей все, не исключая и наших женатиков, симпатизировали, подбивали клинья, тайно вздыхали по ней, хотели понравиться. Она знала о своей неотразимости и вела себя по отношению ко всем несколько снисходительно, но ровно, а ко мне, как я уже говорил, больше высокомерно, чем снисходительно. При каждом удобном случае шпыняла, обращалась как с маленьким, называла то поддельным, неправдоподобным ковбоем, то незаменимым реечником. Это потому, что начальник мне пока только рейку и доверял. Хотя всем известно, что рейку таскать ума не надо, любой дурак справится. Что же тут сделаешь, чем я мог ее заставить себя уважать, если мне по первости никаких серьезных инструментов не доверяли?

— А где же ваш «смит энд вессон»? — на первой же встрече всерьез, пряча свои горячие, лукавые глаза, спросила она, обращаясь явно с издевкой ко мне, неоперившемуся, на «вы». — Потеряли? Ах, ах! Без него ну какой вы ковбой. Нет, не тянете. Не настоящий, поддельный такой.

Единственно, начальник Иван Федулыч тепло и без всяких подначек относился ко мне, поддерживал, а бывало, другой раз, я слышал, как он даже ворчал про себя на геологиню:

— Ну на какой хрен мне ее навязали? Она мне тут всех мужиков с пути истинного собьет. Начнут еще из-за нее отношения выяснять, чего доброго, до драки дойдет.

Меня он особо не загружал, часто, отправляя всех в поле, меня оставлял в лагере на дежурстве, но если и посылал на съемку, то к приборам все равно, как я говорил, не допускал. Вероятно, вполне справедливо считая, что практикант должен начинать с азов и пройти от начала до конца все стадии полевых работ и полевой лагерной жизни.

— Не торопись, успеешь еще, — охлаждал он мои наскоки и требования дать мне настоящий топографический инструмент и поставить на настоящую ответственную работу. — Какие твои годы. Смелешь и уедешь, все пройдешь, все успеешь. Походи с ребятами, присмотрись, повникай, как они снимают, какие тонкости в их работе, наберись опыта, а уж тогда...

На самом-то деле, я думаю, реечников в отряде не всегда хватало, вот мной он и затыкал дыры. И чтобы как-то умаслить меня, выдал мне одноствольное ружье двадцатого калибра и патроны к нему.

— На вот, я слышал, ты с ружьем на «ты»? — посмотрел он на меня внимательно, прицельно. — Обращаться умеешь?

— Кто вам сказал? А-а, наш завкафедрой Иван Федотыч.

— Неважно, кто, важно, что умеешь, показывать, объяснять не надо, что это оружие огнестрельное, что с ним не шутят. К сожалению, это

все, что осталось, лучшего нет. Ребятам-поисковикам карьеров карабины отдал, они далеко уходят, бывает, и с ночевкой, в нехоженых местах остаются. Им нужней. Но и это ничего еще, если что, самый раз. Для самообороны тоже и для охоты на дичь подойдет.

— Зачем он вам, этот допотопный винчестер? — увидев меня с ружьем, тут же не удержалась, поддела меня Инесса. — Носите для вида только... — смешно задрала она нос кверху. Прикоснулась с нарочитой опаской к ружью, мордочку кисло скорчила. — Так оно, наверное, музейное, видите, какое допотопное — раритет.

— Зачем вы?! Для защиты оно и для охоты, — не стал я ей отвечать остротой на остроту, сказал серьезно.

— Им защищаться? — презрительно скривила губы она. — Оно небось и не стреляет. Бойки-то, должно, сношенные. И от кого здесь защищаться. Все звери как узнали, что вы приехали, так и разбежались.

— От медведя, например. И зря вы, я пробовал, оно почти без осечек бьет.

— «От медведя»? — протянула с иронией она. — Скажете тоже! На медведя серьезный ствол нужен, а с этим только на воробьев ходить. — Повернулась спиной и пошагала, раскачивая, наверное, специально, чтоб задеть меня, своими широкими бедрами, в свою полевую отдельно стоящую грунтовую лабораторию.

«Ну стервочка, вот стервочка!» — скрипнул зубами я, одновременно с восхищением, похотливо смотрел ей вслед, на ее вихляющую попочку.

Однако как бы меня начальник ни умасливал, я все равно рвался в поле, на самостоятельные инструментальные работы, всем доказать хотел, а особенно Инессе, что я не только могу рейку таскать, но и приборы знаю. Наконец дождался своего часа, пришел мой день. Как-то, после почти месячного вкалывания без выходных-проходных, Федулыч смилостивился и объявил всеобщий выходной.

— Мужики, — сказал он, — вы ударно поработали. Последнее время вообще без отдыха. Потому заслужили. Завтра объявляется выходной. Всем спать столько, сколько влезет, днем отдыхать, отъедаться, одежду, белье приводить в порядок. А вечером посиделки у костра, как водится, с гитарой, с песнями.

— А наркомовские сто грамм для настроения? — не удержался, задал волнующий всех вопрос все тот же Вася Ключин.

— Будут тому, кто план выполняет, — отпарировал Федулыч. Вася-то в хвосте тащился, постоянно глядел на сторону, соображал, как бы с полевых работ улизнуть, в ближайший магазин за спиртным сбегать. — Ладно, ладно, не переживай, и тебе нальем, если реабилитируешься. Если споешь нам что-нибудь этакое душещипательное.

Вася-то хоть и пил, но петь умел, так пел, что за душу брало, до самых слезных струн души пробирало.

Про него, про «анкаголика», рассказывали, что он как-то, работая на съемке в тундре, ненца — местного жителя встретил. Что большая редкость — аборигены предпочитают стороной неизвестных людей обходить, особенно полевиков, геологов, топографов, поскольку в первое время в таких экспедициях люди работали разные, в основном срок тюремный отбывшие. И этот хотел улизнуть, да Вася понял его замыслы и задержал:

— Э-э, братан, постой! Канай-ка сюда. Канай, канай, говорю. Здорово, братан, — остановил Вася (бывший зэк) ненца и тут же про выпивку вопрос задал. — Подскажи, братан, где тут у вас магазин близко? Такой, чтоб водка была.

— Ань торова, луця (русский), — ответил на приветствие приветствием ненец. — Магазина? — почесал он голову. — Близка чтоба? Э-э-э... А-а-а, моя знает, пайдешь, случай, по тундра пряма. Вон до таго леса, — показал он на чуть темнеющую лесную полоску, едва просматривающуюся вдали. — Повернешь, случай, налева и увидишь солнца и пайдешь на солнца. Тама, случай, и магазина с водкой, и чифолона, случай, многа, ах-ах крепкай чифалона какой.

— Недалеко это?

— Не далека, не далека. Близка.

— Сколько идти?

— Та-а, — незначительно махнул ненец рукой, как будто от комара отмахнулся. — Всего, случай, два-три луна бутет.

Вася-то с тяжелого похмелья, он посчитал, что ненец ни с того ни с сего про луну чего-то заговорил — ерунду какую-то молотит. Разве на небе бывает несколько лун — чушь собачья! Для Васи другое важно, то, что ненец сказал «Не далека» и ориентир дал, куда идти, где взять. Васе-то, если признаться, невмоготу уже было, душа-то горела, и Вася подхватился — и бежать. Потом его всем отрядом две луны искали.

Федулыч, значит, объявил выходной, а я с вечера к завтрашнему дню готовиться втайне от всех начал. Патроны зарядил, ружье почистил, ушел подальше от лагеря, пристрелял его, тахеометр для съемки подобрал, треножник, рейку. Утром поднялся рано — чуть свет, еще только ночь сереть начала. Упаковал в рюкзак то, что бывалые

геологи называют четыре «с»: сахар, соль, спички, сухари, ну и кружку с ложкой, естественно. В лодку-обласок топографический инструмент — тахеометр, треножник, рейку, — ружье, рюкзак сложил. Надо сказать, что в отряде было две лодки: одна большая — целый баркас, с мотором дизельным, другая средняя, легкая на ход — местного изготовления, так называемый обласок. Мы его только немного усовершенствовали, вместо одного весла сделали два с уключинами и родное не выбросили, про запас оставили. Я, естественно, выбрал обласок, поскольку баркас заводить надо было, значит, шуметь, будить народ, что не входило в мои планы. Только упаковался, вспомнил, что от волнения патронташ забыл, повернул в землянку — и тут неожиданно дорогу мне заступает госпожа геологиня, собственной персоной, так сказать.

— Вы куда это так рано намылились? — задает она мне провокационный, с ехидцей вопрос.

— Куда, куда. На кудыкину гору, снимать верблюда, — отвечаю ей сердито, а сам про себя думаю: «Не хватало еще бабе сказать — куда. Это же весь отряд будет знать». Я-то намеревался без разрешения, тайком уйти, а она еще возьмет и в пику мне побежит начальству доложит. Кто знает, что у нее на уме, какая она? И погорело тогда мое предприятие.

А она нет, совсем по-другому поступает, она неожиданно для меня заявляет:

— И я туда же. Куда ты, на эту же гору, за тем же верблюдом, — нагло так заявляет и в лицо мне насмешливо смотрит.

— Куда, со мной, зачем? — ошарашенно ей отвечаю. — Никого мне не надо. И откуда ты взяла, что я куда-то собрался?

— Взяла, знаю, не проведешь. Еще вчера заметила, как ты, от всех прячась, собирался. На съемку, должно быть.

«Вот прохвостка, вот стервочка, ничего от нее не скроешь», — подумал с раздражением, а вслух сказал: — Ни на какую ни на съемку. С чего ты взяла? Прокатиться просто, поохотиться.

— А зачем инструменты в лодку сложил? Не юли, я все видела. И кто тебе в таком случае будет рейку таскать? — прищурилась хитро она.

— Да-а, — зачесал я голову. — Огорошила ты меня! Действительно, кто? Я об этом и не подумал. Ну что же, тогда поедем. Куда от тебя денешься. Лиса-хитрованка. Только не унизительна ли будет геологине работа простого реечника?

— Не унизительна, не унизительна. А ты что думаешь, я буду только рейку таскать? Нет, милый, я и тахеометр освоить хочу. Так что будем по очереди, Сначала ты, потом я. Надеюсь, не откажешь. Поучить меня, несмышленую, этому делу.

— Конечно, естественно, никаких возражений! — с радостью воскликнул я.

Как только представил, что я, простой, в общем-то, студиус, стою близко-близко, склонившись голова к голове, с неотразимой геологиней, вдыхаю свежесть ее волос, запах шелковой кожи, аромат ее духов так, что от счастья кружится голова, так и слов к возражению не осталось. — Только тихо давай отчалим, без шума, а то разбудим кого-нибудь — и тогда плакали наши планы.

— А ты почему сегодня без шляпы? Ковбой без шляпы не ковбой, — не удержалась и здесь поддела меня.

— И правда, — схватился я за голову. — Все второпях позабывал. Ладно, иди в лодку, я сейчас. — И тут же, уж про патронташ не говоря, нырнул обратно в полуземлянку, разыскал шляпу, нахлобучил ее на голову, надел патронташ и поспешил на берег, к лодке. Инесса уже уселась в нее, не на весла, конечно, а, как и подобает геологине-герцогине, на привилегированное место — на корму.

— Надо бы наоборот, — высказался я нарочито с укором, сам садясь за весла. — Мне же стрелять, добычу высматривать, на веслах-то не до этого будет.

— До этого, до этого. Хороший ковбой должен все успевать, — парировала она.

— Ладно, погнали. Высматривай тогда дичь сама, — не стал я отвечать уколами на укол. — Если что, дай знать. И тоже без лишнего шума, у живности хороший слух. Вот тут на полике резервное весло есть, если захочешь, можешь помахать им. Впрочем, помощь едва ли потребуется, мы же по течению пойдем. Река поможет.

Река Харампур, кто не знает, неширока, зато могутна, быстра и вельми глубока, со всевозможными островками, плесами, косами, вода в ней хотя и чистая, но, как правило, темная, чему способствуют расположенные в ее пойме и терасах обширные торфяные болота. По обоим берегам ее стоит смешанный лес из могучих лиственниц, кедров, елей, реже сосен, а также осин, берез и прочих ивовых кустарников и деревьев. Откуда в такой сравнительно небольшой по северным меркам реке сила и могутность, понять невмочь. Даже не в половодье, а в рядовые осенние дождливые дни, например, несет она, бывает, на своей спине, выворачивая с корнями из берегов, такие лесины, деревья, острова целые, что диву дивишься: лесины в два-три обхвата, с суками в

ствол. Кажись, живыми суками-то: вертящимися, шевелящимися, шипящими. Схожими с огромными щупальцами осьминогов, готовыми в любую минуту прихватить зазевавшегося плавуна, перемолоть, перекромсать, изничтожить. А утром она как хороша — и не своей мощью, напором, а веселостью, игривостью от тысячи тысяч зеркальных зайчиков, селящихся в нее от восходящего, брызжущего золотом солнца. Они, зайчики-то, резвятся, как живые, скачут в воде наряду с рыбками, рыбами, вместе с их серебром прыгают в глаза. Сверкают фейерверками, бьют снопами искр. Яркими вспышками слепят. А по берегам что делается, что делается — бабье лето же, осень полнокровная, во всю мощь развернувшаяся. Лес стоит, как цветной ярко-пестрый ковер, разукрашен золотом, багрянцем, кровяными, кумачовыми мазками и чудом сохранившейся на кустах, кустарниках зеленой зеленью.

Сели, значит, в лодку мы, распределили обязанности и пошли вдоль по течению. Геологиня Инесса жмурится сладко, улыбчиво на солнце, как кошка на сметанку. Жадно, взахлеб созерцает прелести природы своими горячими, зажигательными глазами и не думает высматривать дичь, тем более браться за весло — натирать, намозоливать белы рученьки. Не панское это дело, считает. Я хоть и гребу, но время от времени на берег посматриваю, вдруг какая животина или птица промысловая вылетит, выбежит. К нашему столу нелишняя будет, а то в последнюю неделю надоели каша да макароны, макароны да каша. С тушенкой просчитались что-то, быстро кончилась. Так мечталось мясцом разжиться, попотчеваться, что едва ли не снилось, грезилось, как приношу я с охоты в лагерь целого лося или, на худой конец, олешку северного. Как ребята, коллеги мои смотрят на меня восхищенно и восклицают: «Вот это да, вот это ковбой! — говорят. — Настоящий», — и по спине дружески хлопают.

Идем по течению, значит, любуемся природой, за дичью следим. Вдруг слышу шлепки по воде, да такие громкие, неожиданные в утренней тиши, что вздрагиваешь. Наверное, думаю, нельма, она в этих краях здоровая встречается, я узнавал — с акулу маленькую бывает. Другой раз, с дури, как даст по воде, так невольно на сиденье подпрыгиваешь, думаешь, не иначе кит в воды северные зашел. Интересно жуть как стало, налег на весла, пошел на шлепки, зашли за поворот, издалека смотрю с левой стороны — недалеко от берега гора, что ли, какая-то бурая из воды торчит и время от времени машется то ли шапкой своей меховой, то ли ручищей-выступом. Присмотрелся, когда поближе подошли, — никакая не гора, а медведь огромный, рыбу ловит. Высмотрит рыбку — как даст лапой по воде. Оглушит, из воды вытащит и на берег рыбку выбросит, и по новой, еще усерднее охоту продолжает.

Неправ, однако, был Владимир, это не медведь был, а медведица, и довольно крупная для самок этого вида, и к тому же медведица — мать двух медвежат мужского пола, но небольших — этого года — щенков еще. И одна, еще раньше, до того, как на реке появились люди, она обычно с медвежатами на речку ходила рыбку ловить. И щенков поучить этому, а заодно дать им в реке поплескаться, порезвиться, почудить — самое то, самая радость. А тут люди, то есть геологи-изыскатели, на речке встали, и что ни день — по воде туда-сюда, туда-сюда на большой лодке с мотором, грозно, шумно тарахтящим, солярой воняющим ходят и ходят. Она и остерегаться стала, мало ли что, они же при карабинах, она-то жизнь прожила, знала, что такое ружье огнестрельное, возьмут и перестреляют ее кровь, ее несмышленышей. Они же человека не знают, не понимают, подставиться из-за одного любопытства только могут, люди-то ведь разные, есть такие, что и родную мать не пожалеют, не то что каких-то зверят-малышат. Возьмут и не пожалеют. Вот и не стала их с собой на реку брать, раным-рано, пока щенки еще спят и у людей пока баркасы не заведены, она поднимется — и на реку. Наловит рыбки, сама наестся и щенкам принесет. Щенкам-то, правда, рыба для забавы больше, для баловства, они материно молоко больше любят, но все равно пускай знают, чем будут без матери, если что, кормиться, что промышлять. Пососут малыши молока — и пошли, покатились по лесу шнырять, сладку ягоду малину на десерт искать. Если нет малины, не уродилась если, или не растет поблизости — не беда, черника с голубикой, ежевикой тоже ягода хоть куда.

— Медведь, вон медведь! — меж тем я шепчу Инессе. — Садись на весла, я сейчас его достану. Наконец-то с мясом будем.

— Я сама вижу, — тоже шепчет она. И молодец какая, без лишних слов и возражений садится на мое место за весла и испытующе глядя мне в глаза, спрашивает: — А не забоишься?! Вдруг промажешь?

Даже в такой тревожной ситуации не удержалась от подначки. Вот натура, до чего же стервозная. Вместо того чтоб самой по-девчоночьи испугаться, заскулить, меня от безрассудства

броситься отговаривать (медведь как-никак зверь большой и хищный), она мне «зубы скалит».

— С твоим двадцатым калибром небось и шкуру этому великану не пробить.

— Пробьем! — я как можно увереннее ей отвечаю, хотя и сам сомневаюсь, мелковато, действительно, ружье-то на такого зверя. — Ты поближе к нему греби, на метров тридцать-сорок подойти надо, чтоб бить наверняка. И без шума греби, весла из воды не вытаскивай, — распоряжаюсь я, вошел в раж, растопил азарт, меня уже не остановить.

Медведь поднял голову, посмотрел на нас, показалось, с презрением, ничего, видимо, опасного для себя не обнаружил (ружье-то я до времени не показывал), что ему молоденькие, незаматеревшие отпрыски, при этом одна из них баба, или девушка еще, и как ни в чем не бывало продолжал заниматься своим делом.

— Придержи чуть! — шепнул я Инессе, когда посчитал, что подошли к зверю достаточно.

Поднял ружье и шарахнул. Выстрелил и рот разинул в полной уверенности, что попал, что сейчас медведь завалится. А он мне — накоси выкуси! Поднялся на дыбы да как рявкнет на весь лес, прыг в реку — и за нами. Да быстро так, не хуже торпеды. Видать, только ранил его, а раненый медведь — хуже некуда, такой злой, такой мстительный становится, что не приведи господи!

— Греби-и! Уходим! — кричу я Инессе, сам — ружье перезаряжать, а руки не слушают, трясутся, испугался вусмерть — вдруг догонит.

Никак патрон в ствол дослать не могу. Запихал кое-как, начал выцеливать, а ружье в руках ходуном ходит, навести на цель не получается, и медведь попался хитрый, плывет, как классный брассист, то на поверхность вынырнет, то под воду уйдет. Пойди тут поймай его на мушку. Кое-как унял дрожь, собрался, посчитал на разы, то есть высчитал время, сколько он под водой держится и на выныривании, нажал на курок. Однако выстрела не последовало — осечка, мать ее! В чем дело, понять не могу, патроны-то сам снаряжал, все — и порох, и капсюль дотошно досматривал. Все было качественное, все свежее, ружье, видать, старое — бойки и вправду подсносились. Еще раз взвел курок, спустил — то же самое — осечка! А медведь уже близко, вот-вот лодку прихватит.

Бросил ружье на дно, схватил весло, начал остервенело им воду загребать, Инессе помогать, чтобы от зверя, от расправы уйти, да не тут-то было. Вначале-то чуть даже оторвались вроде, но и медведь наддал и настигать нас начал. Вот-вот зацепит когтями и опрокинет нашу лодочку. Тут я, на счастье, вспомнил, что в таких случаях надо зверю что-нибудь из одежды бросить, и он отстанет. Сдернул с головы шляпу свою любимую ковбойскую и, хотя жалко было, но в таком положении не до жалости, бросил в его разъяренную пасть. Он не побрезговал. Как начал мою бедную шляпу рвать, кромсать и рявкать одновременно, что у меня, хотя и не меня на куски рвали, поджилки затряслись, печень опустилась. Пока рвал, метал, мы немного снова от злодея оторвались. Инесса-то наша, спасибо ей, молодчина девочка, не робкого десятка оказалась, не опустила руки, не рассопливилась, не расплакалась (чего всего больше боялся я), а махала веслами и махала без устали. Вероятно, механизм самосохранения сработал или внутренние резервные силы пришли на помощь. В экстремальных ситуациях такое случается, когда через Рубикон, когда выбирать проходится, жить или умереть, силы удесятеряются. Шляпу отдал на растерзание и возрадовался: отстал вроде, бросил нас зверюга. И мы в уме перекрестились, вздохнули поглубже, облегченно, Бога добрым словом помянули, что не дал зверю нас сожрать, изничтожить. Ан нет, медведь увидел, что мы уходим, и опять наддал, и опять расстояние от нашей лодки до него стало сокращаться. Вот ведь сильная до чего зверина, нас двое, а он один, а плывет скорее нас — не хуже рекордсмена.

— Володя! — закричала громко геологиня. — Володя, надо нам против течения идти.

— Зачем? — не сразу врубился я. По течению-то удрать не можем, а уж против-то тем более. Балбес я, не принял в расчет законы физики.

— Володя, он же полтонны, ему течение плыть не даст, а мы против него даже с лодкой тьфу. Сотню не потянем.

«Вот умница, вот что значит инженерша!» — дошел до меня ее маневр, и я не столько ей, сколько себе скомандовал:

— Разворачиваем!

Развернули лодку, пошли наперерез ходу зверя в надежде, что проскочим, что не успеет он нам перекрыть дорогу. Не проскочили, не успели, каких-то двух-трех секунд не хватило, чтоб его с носом оставить, а он вот, в двух метрах от лодки вынырнул. Я на этот раз уже не растерялся, хотя озноб по спине ходил, волосы от страха дыбом стояли. Понял, что сейчас-то он нас, как пить дать, прихватит, и, еще не зная, повезет ли второй раз, на автомате воспользовался уже имеющимся способом избавления — бросил в его пасть рюкзак с четырьмя «с». Ярость медведя, что мы прямо из

пасти его, как ужи, вывернулись, была настолько велика, так его разум ослепила, что он и в этот раз, вместо того чтобы нас «приласкать», принялся с удвоенным рвением и злобой рюкзак рвать, кромсать и реветь, рявкать так, что наша лодка, казалось, от страха подпрыгивала. Мы воспользовались его усердием, и прямо около носа проскочили, и пошли, налегая на весла, обратным ходом по реке. Медведь увидел, что мы опять обхитрили его и удаляемся, бросил рюкзак, вернее, все, что осталось от него, и с удвоенной энергией — за нами. Да не тут-то было, расчет Инессы оказался верным, мы помаленьку-помаленьку, но стали отрываться от него. Зверюга понял, что нас таким манером не догнать, — и к берегу. Мы перекрестились в уме вторично, вздохнули облегченно, подумали, что отстал, даже грести, не очень налегая на весла, начали. А он на косу выскочил и наметом — по берегу, в ту сторону, куда и мы шли или откуда пришли. Зачем, почему сначала мы с Инессой не поняли? Но вскоре разъяснилось все: он обогнал нас и опять прыг в воду и вплавь — нам навстречу. Вот хитрец, вот умник — вода не помогла, так берег, чтоб нам все пути перекрыть, использовал.

— Инесса, милая, наляжем, он нас опять достанет, как есть достанет. Все, гад, рассчитал. Вот и скажи, что у них ума нет.

И хотя силы были на исходе, мы опять налегли на весла. Гребем, значит, изо всех сил, а этот вражина приближается, и надо же, точно рассчитал, что через два-три гребка опять у лодки оказался, опять изготовился за борта ее ухватить и опрокинуть. Бросать ему в лапы уже было нечего, и я, мысленно уже похоронив себя, машинально, пулей содрал с себя казенный бушлат-спецовку и, ни на что не надеясь, кинул ему на растерзание. Думал, такого умницу третий раз на одном и том же вряд ли проведешь, а ничего, сработало — спецовочка к месту пришлась. То ли она провоняла мной, то ли страхом моим пропиталась, но зверюга ее принял на ура. Так кромсал, разрывал, рвал, так ревел, выл, что берега дрожали. Так рявкал, изничтожал, что и я, будучи, к примеру, в его лапах, такого приема вряд ли бы удостоился. Ну, мы, естественно, опять этим воспользовались, проскочили около него, ушли, так сказать, от верной смерти. Зверюга увидел, что мы опять его обхитрили, опять на мякине провели, и снова — к берегу, повторять тот же маневр, выскочил на него — и махом-махом, вдоль него, в ту же сторону, куда и мы на лодке идем. Вот ведь настырный какой, прицепился, не отстанет и наверняка преследовать будет, пока нас не прищучит, не слопает. А нам что остается — только грести, а силы-то уже на исходе, кончились, нет их, на руках мозоли кровяные, в глазах страх и предчувствие неизбежности кончины. Но не сдаемся, плывем, не знаю уж на каких ресурсах, на каких силах, на честном слове, должно быть.

И вдруг — слышим мотор впереди вроде как рокочет, и, похоже, нашего баркаса мотор. Уж я-то его звук, дожидаясь с поля ребят, изучил, знаю. Тут как раз по пути излучина, мы по ней обошли мысок — и смотрим, точно, нам навстречу наш баркас движется. Спаслись, выходит! А не верилось. У нас от счастья, от переживаний и руки опустились, слезы на глазах, от переполняющих чувств кричать, орать, плакать хочется, а рот открыть сил нет. Но в голове свербит все же мысль трусливая: а вдруг мишка из-за своей злопамятности и ярости лишился разума — страх потерял и все равно, несмотря на баркас, нас преследует. Посмотрели на берег в надежде, что мишка от нас отстал, бросил, — а его и правда нет нигде, знать, баркас услышал и затаился, себя от невыполненной задачи — нас покромсать — поедом съедая. Естественно, затаился, ребята-то изыскатели без карабинов в поле не ходят. А он, поди, не раз наблюдал их с оружием, слышал, как они бабахают, и наверняка знает, что оружие-то — оно смертоносное.

Ребята как обнаружили, что нас в лагере нет, как услышали выстрелы, так сразу забеспокоились. Из-за меня-то, предполагаю, меньше всего, из-за геологини — это уж точно, это к бабке не ходи. Ее-то, напоминаю, все готовы были на руках носить, а уж из беды выручить, если в нее попала, так всяк вперед каждого. А то, что она в поле ни разу не бывавшая, со мной, с молокососом, в беду попала, почему-то сразу, без разногласий, все решили. Пошли к начальнику, он и разрешил баркас взять, версию о попавших в беду молодых сотрудниках проверить и помочь, если потребуется. И прав оказался.

Словом, подобрали они нас, выслушали наши сбивчивые речи и, зарядив карабины, — к берегу поближе, на перехват зверя. А медведица шум мотора услышала и недалеко от берега в кустах затаилась, об отмщении забывать и не думает, внутри-то горит все, рана в плече тревожит, яростью наполняет, забыть о поганых людишках не дает, рассчитаться сполна с ними требует. Тут, на беду или во благо, медвежата ее, выстрел услышав, проснулись и то ли из любопытства, то ли чтоб укрыться, спрятаться, по следам нашли мать и под крыло к ней с обрывчика скатились. Она их — провожать с опасного места подзатыльни-

ками, они пищат, скулят, но далеко от матери не уходят.

Мужики в это время на баркасе, на веслах, двигатель заглушив, вдоль берега потихоньку крадутся, медведя высматривают.

— Вон он! — самый зоркий Вася Ключин зашептал, пальцем на гору черно-бурую показывая. — Цельтесь! — Но тут же закричал во весь голос: — Стойте! Стойте! Это же не медведь, а медведица. Она с медвежатами уходит. Смотрите! Вон впереди нее два медвежонка, с собаку всего. Медведица-то их поздно родила, видать, в апреле, вот они и запаздывали с развитием, не успели в телков превратиться.

— Как же ты так, Володя? — меня начальник, когда, охоту прекратив, мал-мал отошли все, успокоились, спрашивает. — Смог на медведицу ружье поднять? Она же с детьми, им потом что делать — умирать? Эх ты! Горе-охотничек, — пристыдил он меня.

— Я-то при чем, я же не знал, что это медведица, я ее за самца принял. Хотел мясцом разжиться, для вас же старался, — оправдывался я перед всеми. — Не верите, вон у Инессы спросите.

— Правильно она тебя чуть не съела. Зачем ранил?— не удержался-поддел меня выпивоха и весельчак Вася Ключин. — Мы-то, дураки, зачем вышли, зря только соляру сожгли. Пускай бы природа распорядилась, кто кого и за что... — рассмеялся беззлобно он. — По мне так, если решил зверя стрелять, то точный расчет надобен — и в цель так бить, чтоб наверняка.

— Уймись! — одернул его начальник. — Ему и так, вижу, несладко, тут ты еще, как муха назойливая, жужжишь. Сам-то забыл, как в штаны наложил, когда их в лагере встретил. Потом еще, когда отстирывал, долго по реке вонь шла, — гвоздил он выпивоху под дружный хохот ребят-изыскателей.

Вечером у костра все тот же неунывающий весельчак и выпивоха Вася Ключин, конечно, после того как начальник Федулыч угостил его обещанными «наркомовскими», взял гитару и под шумок накрапывающего, убаюкивающего дождя и падающих с тихим шорохом листьев задушевно запел:

Сырая тяжесть в сапогах,
Роса на карабине.
Кругом тайга, одна тайга,
А мы посередине.
Письма не жди, письма не жди,
Дороги отсырели.
Идут дожди, одни дожди.
Четвертую неделю.
Пятнадцать лет и двадцать лет
Судьба наша такая.
Медвежий след, опасный след
Тропу пересекает.

Вася пел про нас, геологов, про нудный, осточертелый дождь, про медвежий опасный след, а я с содроганием вспоминал про нашего медведя-медведицу, которая сегодня чуть не навечно пересекла наш жизненный путь, вспоминал и дивился ее уму и расчетливости, которых в природе вряд ли у кого еще встретишь.

Дивился и на вторую умницу — геологиню нашу, которая не дрогнула и в опасной ситуации нашла путь к спасению. Которая сегодня устроилась рядом со мной и, жарко глядя мне в глаза, не называла меня иронически ковбоем, а говорила нежно и ласково: «Володя, Володенька!» А я, несмотря на все это, называл ее, хоть и тоже ласково, но по-прежнему «стерва, стервочка!», но уже в хорошем смысле слова.

Джеймс РАНСИМЕН

Джеймс Рансимен (1852—1891) — английский писатель и журналист, автор серии очерков, рассказов и повестей, посвященных рыбакам Северного моря, с которыми он часто путешествовал, сборников «Романтика побережья», «Сон Северного моря» и других.

Рубрику ведет
Евгений Никитин

Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой газете», журнале «Плавучий мост». Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», в настоящее время учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета по специальности «история».

Рыбаки севера

Те, кто проводит недели в море на больших смэках[1], называют себя рыболовами. Однако береговые рыбаки вовсе не считают их собратьями по профессии. Владельцы плоскодонок крайне высокомерно относятся к тем, кто покидает сушу и не возвращается домой наутро, как подобает настоящему рыбаку. Такой «путешественник» может уверять, что он тоже рыбак, но на самом деле он скорее моряк, и настоящий знаток рыбной ловли всегда будет смотреть на него сверху вниз. Вдоль побережья, от Тайна[2] до Берика[3], через каждые четыре мили можно встретить деревушку, в которой живут преимущественно рыбаки-лодочники. Этнологи утверждают, что местное население — один из самых физически развитых народов в мире. Даже невероятно высокие камберлендцы[4] уступают нортумбрийским[5] рыболовам по весу и по объему грудной клетки. Согласно статистике, в районе деревни Боулмер живет, пожалуй, самый цвет британской нации.

Все эти деревушки почти одинаковые. Первые поселенцы, вероятно, выбирали такие места, где цепочка скал выстраивалась «тетивой лука» вокруг залива, или где нависающий над бухтой склон создавал надежное убежище. Береговая линия опускается в море очень медленно, галька на ней отсутствует, так что для безопасного выхода на водные просторы пришлось изобрести особую лодку. Рыболовы древности быстро поняли, что она должна иметь очень низкую осадку и вместе с тем уметь выдерживать непогоду. Результатом многолетних экспериментов стала плоскодонка — в такой же степени самобытный продукт, как и придумавшие ее люди. У плоскодонки резко выгнутый нос, напоминающий грудину поганки[6]. Его

[1] Одномачтовое рыболовецкое судно.

[2] Город на северо-восточном побережье Англии.

[3] Город на восточном побережье Англии.

[4] Камберленд — бывшее графство на севере Англии.

[5] Нортумбрия — бывшее англосаксонское королевство на севере Англии.

[6] Птица из семейства водоплавающих.

кривые контуры оправлены железом. Но далее резкость очертаний сменяется округлостью, и ближе к корме днище становится идеально плоским. Лодка сконструирована таким образом, что когда нос находится на высоте трех футов, корму от воды отделяет всего пара дюймов. Она может подходить так близко к берегу, что с кормы можно без труда сойти, не замочив ноги. В спокойных водах грести на плоскодонке очень легко, однако поставить парус на суденышко, половина которого едва не утопает в воде, нереально; такая конструкция перевернулась бы от малейшего ветерка. Этой проблеме нашли изящное решение: после установки паруса перо руля[1] ставится в фиксированное положение и, так как оно очень длинное, опускается под воду как раз фута на три. При порывах ветра оно играет роль выдвижного киля. Если перо ломается, лодку уже ничто не спасет, но пока оно цело, плоскодонка будет стойко сносить непогоду и на удивление плавно скользить по волнам. Управлять такой плоскодонкой учатся долгие годы — недаром рыбацкая пословица говорит: «Чтобы освоить лодку, надо родиться в ней».

У лодочников очень хорошие шансы стать мастерами, ибо они рано приступают к учебе. Едва вставший на ноги младенец уже делает первые шаги по направлению к воде. Подрастающий ребенок наблюдает, как его отец и другие рыбаки вытаскивают лодку на берег, а после полудня загружает ее флягами с пресной водой. Вечером он провожает взглядом лодки, мчащиеся на север одна быстрее другой, пока последний парус не исчезнет вдали. Утром он встречает возвращающихся домой рыбаков и уже умеет отличать одно суденышко от другого, хотя для постороннего они совершенно одинаковы. Видит, как разгружают улов, и возвращается домой вместе с невозмутимыми рыбаками. Утром, пока они спят, он вместе с женами рыбаков заготавливает наживку или, в зависимости от сезона, плетет сети. Он, безусловно, ходит в школу, но ученик из него очень рассеянный и непостоянный. Его помыслы сосредоточены на море, он уделяет мало внимания учебникам и грифельной доске. Трудно найти прилежного сына рыбака даже в последние двадцать лет, когда обучением грамоте занялись и в мелких деревушках. Согласно правительственной программе образования школы появились повсюду, но что может поделать бедный учитель с учеником, которого каждое утро зовут заготавливать наживки, который никак не может пропустить вечернюю гонку лодок?..

Юный рыбак всегда ходит босиком. Когда он подрастет, у него появятся тяжелые сапоги специально для моря, однако жалкое подобие «настоящей» обуви — туфли или высокие ботинки — совершенно неприемлемы. В школе он порой надевает ненавистную обувь, но, как только двери «тюрьмы» распахиваются, он сдергивает ботинки, завязывает шнурки вокруг шеи и радостно несется домой, сверкая загорелыми пятками. Он преспокойно пробежит босиком сквозь заросли крапивы; «цивилизованные» дети при виде такого героизма разевают рты от восхищения. Язык, на котором он изъясняется, — причудливая смесь наречий. Южане его точно не поймут; типичный рыбак употребляет старомодные слова и издает гортанные, клокочущие звуки. Говоря «я полетел кубарем», он непременно добавит «как рыбеха из корзины». Постороннего такой язык изумляет, а рыбак преисполняется гордости. Трудно выразить словами презрение, которое сын рыбака испытывает к изучающему «массингемский» (так они именуют английский язык); он заклеймит такого мальчика выродком и перестанет с ним общаться.

Когда юному рыбаку впервые делают замеры для штормовки[2], он очень этим гордится. В плоскодонке он чувствует себя настоящим мужчиной. Обычно подростка отправляют ловить форель в бухте. Всю ночь напролет он скользит по водной глади под черным небом и вслушивается в рокот волн, в шелест прибрежных деревьев. Ближе к рассвету обычно холодает. Такое ночное дежурство отлично закаляет. Когда юношеские ладони грубеют, можно грести на веслах и стать очень полезным членом команды, так как другие теперь смогут заняться вытягиванием сетей и приманиванием рыбы. В шестнадцать лет рыбак получает воскресный китель и шапку с лентой. Подросток прокалывает себе уши; с тонкими позолоченными кольцами в ушах он похож на иностранца.

Молодые рыбаки очень застенчивы в делах романтических. Парень охотно пройдет восемь миль пешком в темноте, чтобы увидеться с возлюбленной, но сгорит на месте от смущения, если кто-нибудь увидит их прогуливающимися вдвоем. Рабочий из города преспокойно гуляет со своей милой

[1] Вертикальная пластина, поворачивающаяся на оси в кормовой подводной части судна. Служит для поворота корабля в ту или иную сторону.

[2] Куртка с капюшоном из плотной непромокаемой ткани, защищающая от сильного ветра и дождя.

воскресным днем, но молодые рыбаки никогда не встречаются в открытую.

В их ухаживаниях нет ничего достойного пера поэта. Ни один рыбак никогда не употреблял слово «любовь»; если бы он выучил этот кусочек «массингемского», он перестал бы считать себя мужчиной. Порой случается так, что из-за перенаселенности молодым людям приходится уходить на юг и работать в портовых городах. Вернувшись в деревню, они могут принести с собой обычаи моряков, однако исконные уроженцы все равно будут придерживаться прежних жестких порядков.

Трудно сказать, в каком именно возрасте юный рыбак становится мужчиной. Это во многом зависит от его физического состояния. Работа в море крайне изнурительна и под силу лишь самым крепким людям. Порой очень сильный парень считается «созревшим» в восемнадцать, но, как правило, молодых долго и тщательно подготавливают, прежде чем взрослые рыбаки начнут считать их своими. Кандидат должен подумать о женитьбе — а такие мысли все чаще приходят на ум долгими вечерними путешествиями. Он обязан жениться на рыбачке, ибо выбравший дочь фермера все равно что однорукий в глазах остальных. Работа, которая отводится женам рыбаков, невозможна без долгих тренировок: ни одна «сухопутная» девушка не научится находить и заготавливать наживки. Она привыкла к длинным платьям и изящным туфлям, а не к коротким юбкам и босоногости: переносить холод и ветер она не в состоянии. Парень, женившийся на «чужой», разрушил свою жизнь, и о его участи остается только скорбеть. Он изолирован от общества, ибо его жена (пусть даже она жила всего в паре миль от моря) не сможет общаться с рыбачками из клана на равных. Но если молодой человек женится согласно старинному обычаю, у них с женой начнется партнерство, лишенное всяческих фривольностей вроде свадебного путешествия и цветов. Вскоре молодая жена уже будет трудиться на кухне и ходить в город с полной корзиной рыбы на плечах. Ее стройная фигура сгибается под тяжелой ношей. Муж не станет выражать свои чувства в открытую, но на самом деле он очень доволен своей супругой.

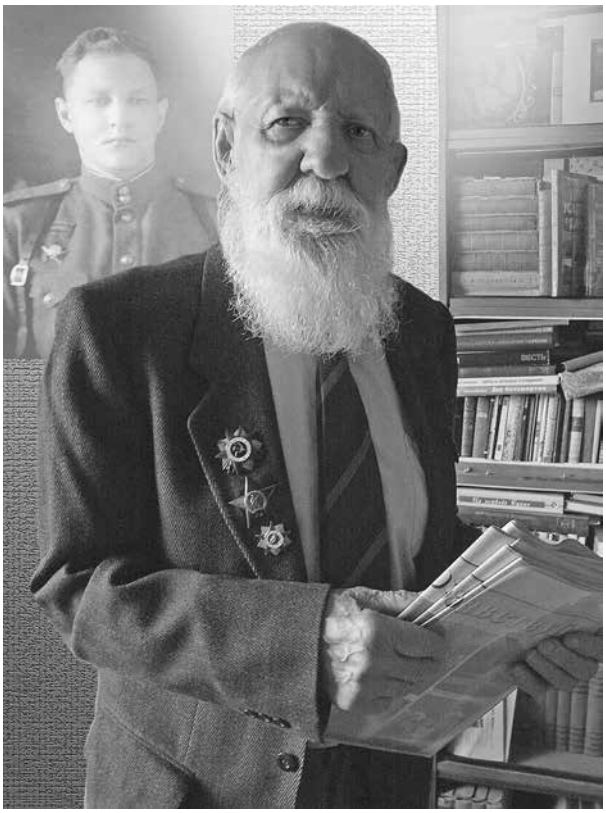
Развлечения рыбакам недоступны. В воскресные дни, проснувшись после полудня, они выходят прогуляться и глазеют по сторонам, однако почти не смеются и вообще мало чем интересуются (если, конечно, не религиозны). Сплетни их не волнуют. Порой они демонстрируют в кратких обрывочных фразах чувство юмора, которое исчезает так же быстро, как и появляется. Диапазон их эмоций очень ограничен. Храбрость рыбака неоспорима, и все же он не смеет распространяться об этом. Он может совершить героические поступки с невозмутимым лицом, но не найдет в себе ни сил, ни связных слов, чтобы рассказать кому-нибудь о своих деяниях. Он никогда не выказывает сильных чувств, за исключением религиозного экстаза, — таким его сделало море. Больше всего на свете он ценит хладнокровие.

После церковной службы маленькая часовня наполняется одобрительным бормотанием, однако жестикуляция или оживленное выражение лица крайне редки. Слышатся мужские голоса, женские вздохи, но это не сопровождается ни малейшим движением. Рыбаки, пожалуй, — самый религиозный слой общества и одновременно самый сдержанный. К старшим рыбак грубоват — быть может, непозволительно грубоват — однако его фамильярность не носит оскорбительного оттенка. Он упорно трудится до тех пор, пока не пробьет его час и он не останется на берегу на веки вечные. Его жизнь полна риска; в каждой деревне ходят десятки рассказов об утопленниках, ибо море — жестокая стихия. Только непревзойденное умение и бесстрашие дают шанс пройти жизненный путь до конца без несчастных случаев. Если же несчастный случай окажется фатальным и тело прибьет к берегу, женщины будут заламывать руки, а старики — хранить почтительное молчание. Но если все закончится хорошо, то для рыбака наступит относительно спокойная старость. Женщины бережно ухаживают за ним, а солнечными утрами он в полной мере наслаждается жизнью, сидя на скамье, нянча внуков и глядя в море.

Перевод с английского Евгения Никитина.

Терновский — его венец

Терновский А. Собрание сочинений. — М.: Художественная литература, 2015.



Этот фундаментальный, заключительный том собрания сочинений Анатолия Терновского, можно сказать, дважды юбилейный. Да, так распорядилась судьба, что в год выхода книги в свет, 9 мая 2015 года, исполнилось 70 лет нашей Великой Победе в нашей же Великой Отечественной войне, а 31 мая этого же, 2015, года фронтовик, кавалер нескольких боевых орденов и медалей (и тяжелого боевого ранения, сделавшего его инвалидом) мой сокровенный старший друг отпраздновал и свое столетие.

Человек, проживший на белом свете сто лет, да еще такой крутой, почти неподъемной жизнью, которую иначе как п р е о д о л е н и е м и не назвать, уже сам по себе история. И любое его здравое слово, обращенное к современникам и потомкам, — на вес золота. Зерно — дай только бог, чтобы оно падало в благодарную почву.

Книга Анатолия Терновского состоит из двух частей и отражает, в сущности, две страсти, которые и движут этим незаурядным человеком всю его мирную жизнь (военная не в счет, ибо на войне, мне кажется, человеком движет не страсть, а страх: просто у одних только за одного себя, а у других, таких как мой друг Анатолий Дмитриевич, — за семью, за Родину, за Отечество): строительство и краеведение. Впрочем, даже на войне он умудрялся иметь отношение к строительству: был сапером, одним из тех, кто ошибается только раз. Открывал пути-проходы, тропки и дороги и даже возводил леса — будущего мира. Инвалид Великой Отечественной, он впоследствии многие годы проработал на стройках Советского Союза и России. Отвечал за их качество. Взбирался по строительным лесам, проверяя каждый стык и каждую перевязь. В том числе и даже в первую очередь — собственными ногами. Одна из которых, еще с войны, — протез. В этом отношении строитель Анатолий Терновский сродни военному летчику Алексею Маресьеву. Натуральные высоты, которые они брали, разные, а высота духа, в общем-то, одна.

Ну а краеведение у этого человека буквально в крови. Еще его отец, всей округой уважаемый учитель, Дмитрий Андреевич Терновский, посвятил себя изучению истории и природы родного Предстепья. Заведовал в родном воронежском городке с вкусным, русским именем К а л а ч местным музеем. На фасаде здешней школы и сейчас есть доска с его именем. Сын, Анатолий Дмитриевич, всецело унаследовал эту благородную страсть. Может, это еще и война укрепила его в таком исключительно мирном увлечении: рассмотреть все сущее, зафиксировать в памяти и, по возможности, передать следующему, то есть — идущему следом.

Калач — так, повторяю, называется город, которому посвящена первая часть книги. К а л а ч... Это почти что метафора самой России. Как не стоит деревня без праведника, так и не стоит страна и без таких о п о р н ы х, основополагающих городков. Анатолий Терновский скрупулезно прослеживает всю его трехсотлетнюю историю. Вспоминает всех его с т р о и т е л е й, созидателей, защитников и просветителей. В книгах А. Терновского Калач и впрямь город хлебный — поднимается, как на дрожжах, на собственной привольной земле. Автор любовно описывает здесь и природу родного края, едва ли не каждую здешнюю былинку. К слову говоря, в собрании сочинений Анато-

лия Терновского, которое выпускала и выпускает «Художественная литература», очень заметное место занимает и том под названием «Народный *домашний* лечебник». Он пользуется интересом у читателей, особенно сегодня, когда попробуй достучись, вернее, д о п л а т и с ь, до официальной медицины. Советы Терновского достоверны уже хотя бы потому, что проверены на самом себе — назовите мне еще хотя бы одного целителя, дожившего до таких лет. И еще — потому, что у его советов и рецептов родная среднерусская почва: все травы, плоды и листья, о которых он упоминает, у всех нас буквально под рукой. Анатолий Дмитриевич вглядывается в них, каждое растение, каждую былинку знает не понаслышке. Возможно, в этом сказывается и природа самой его фамилии Т е р н о в с к и й.

Вторая часть книги посвящена военной истории глубинного тылового русского городка, который в свое время, в одночасье, стал прифронтовым. Опорный край державы — это не только могучий Урал, это и такие вот бесчисленные городки и селения, которые отдавали фронту все, чем располагали сами. Хлеб, портянки, махорку, порох... И самое бесценное — жизни. В 1941 году более 20 000 калачеевцев, едва ли не каждый третий, ушли защищать семью, родину, Родину. И с малой, и с большой. И почти половина их не вернулись. Анатолий Дмитриевич уходил вместе с ними, но судьба подарила ему счастье вернуться. И вот теперь в своей книге он в первую очередь воскрешает тех, кто трудным счастьем таким оказался обойден. Многие-многие имена ветеранов Великой Отечественной найдете вы в этой книге. Многим судьбам дает старый неугомонный писатель второе дыхание: и тем, кто увенчан большими звездами, включая Звезды Героев Советского Союза, и тем, кто удостоен звездочек на обелисках, и тем, кто вообще покоится в безымянных могилах... *Возвращает им венец, пусть даже не всегда лавровый.*

Терновский...

«Терновый мой венец». Увы, судьба примеряет его на каждого из нас... Где-то в эти же победные майские дни, в самый канун своего очередного дня рождения, Анатолий Дмитриевич потерял своего сына, к слову, моего ровесника, полковника российской армии Дмитрия Терновского. Еще раньше безвременно ушла из жизни жена Анатолия Дмитриевича, Валентина, память о которой он достойно несет по сей день...

И впрямь — праздник со слезами на глазах. Мне кажется, восстанавливая жизнь, историю своего родного края, Анатолий Дмитриевич восстанавливает, продлевает и жизнь своей семьи. Окруженный заботами своей дочери Людмилы, молодой поросслью Терновских, пусть и под разными фамилиями, он по-прежнему верен двум своим благородным страстям: созидать и открывать. Строить и помнить. Солдат чьих-то близких и далеких жизней, солдат людской памяти потихонечку вошел и в свой сто первый год. И всем нам теплее, спокойнее и п а м я т л и в е е рядом с ним.

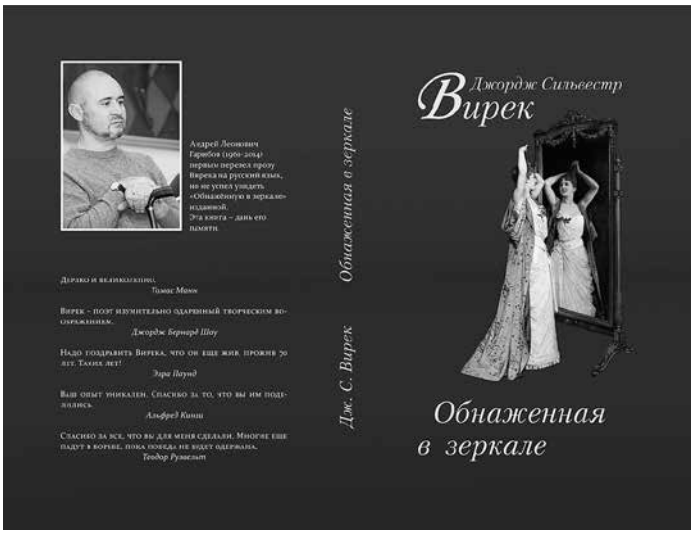
Георгий Пряхин, писатель,
директор издательства «Художественная литература»,
академик Академии российской словесности

Мир идет к новому матриархату?

Вирек Дж. С. Обнаженная в зеркале: Роман / Пер. с англ. А. Гарибова. — М.: Водолей, 2015. — 208 с.

Немногим в молодости удается стать одним из героев известного романа. Такая участь ждала Джорджа Сильвестра Вирека (1884–1962), успешно начинавшего литератора, выведенного Э. Синклером в образе юного поэта Стрэскона в романе «Столица» (1908). Роман Синклера неоднократно издавался в СССР, но этот персонаж ничего не говорил русскому читателю, к которому произведения Вирека приходят только сейчас. В 2013 году были изданы его роман «Дом вампира» и некоторые эссе, два года спустя — произведение, ставшее своего рода завещанием, которое, он надеялся, вернет его в литературное сообщество.

«Обнаженная в зеркале» (1952), по сути, является своеобразной адаптацией вышедшей на рубеже 30-х годов XX века трилогии Вирека и Пола Элдриджа «Мои первые 2000 лет. Автобиография Вечного Жида», «Саломея, Вечная Жидовка:



мои первые 2000 лет любви» и «Непобедимый Адам». Вернее, в этом романе использован жанровый канон, восходящий к плутовскому роману XVI–XVIII веков, который соединен с мифом о Вечной Женственности. В трилогии действовали неутомимый юноша Картафилус — неожиданная интерпретация Агасфера, демонстрирующая умственное превосходство женщин внучка царя Ирода, и «пропущенное звено» эволюции — получеловек-полуобезьяна Котикокура, выступающий как «непобедимый Адам» на сексуальном фронте. Однако, в отличие от немецко-русских версий мифа, в предложенном Вирекком варианте усилен эротический подтекст, улавливаются гендерные инновации середины XX века, слышны отзвуки психоаналитических штудий, и развертывается цепь лихих метаморфоз, которая предваряет приключения Джеймса Бонда, родившегося под пером Яна Флеминга несколько позже.

«Обнаженная в зеркале» представляет собой ряд «исторических картин» с участием Стеллы де ла Мар, призванных, как выразился автор в предисловии к роману, развенчать «легенду о мужском превосходстве». Правда, на этот раз Вирек выбрал только одну, но тщательно культивируемую и охраняемую мужчинами область — область сексуальных отношений. В каждой из сцен участвует героиня, призванная разоблачить мужскую самонадеянность. Подспудный посыл книги — мир идет к новому матриархату, способному обходиться без мужской особи (Вирек апеллировал к некоторым открытиям биологической науки своего времени, полностью подтвержденным сегодня, — идее искусственного оплодотворения и т. п.!). То, чем мужчина гордился испокон веков, — окажется в итоге невостребованным и ненужным.

Определенная повторяемость воспроизводимых эпизодов может показаться современному читателю несколько занудной, ибо каждая сцена строится по одному и тому же сценарию. В самый ответственный момент и Геракл, и Наполеон, и Дон Жуан и многие другие, по устоявшейся традиции считающиеся великими любовниками, оказываются не на высоте положения, — и бедной Стелле ничего не остается, как броситься на поиски новых приключений. Некоторое однообразие сюжетных коллизий и развязок объясняется традицией, восходящей к философско-нравоучительной повести эпохи Просвещения. Действие романа происходит на пароходе, плывущем на Восток вдоль берегов Средиземного моря и призванном символизировать путь человечества, проходящий через рифы эротических испытаний. Восток здесь далеко не случаен. Восточная экзотика была «задействована» и Монтескье, и Дидро, и Вольтером, желавшими в своих «восточных» сказках оправдать присутствующий в них эротизм местными особенностями и одновременно иметь возможность осмеять современную им французскую действительность. И хотя Вирекку в начале 50-х годов XX века не надо было обходить рогатки цензуры, Восток позволил ему вскрыть противоречия современного общества на уровне борьбы полов.

Далеко не случайно, что его герой — профессор философии женского колледжа по имени Адам Гринлиф (то есть человек, умственным багажом которого является мудрость веков, и одновременно родоначальник человечества). Окруженный девицами, он тешит свое мужское самолюбие, черпая в их обожании подтверждение своей неотразимости. Однако выпавшие на его долю испытания только подтверждают его несостоятельность во всех смыслах — он оказывается и недостаточно умен, и не слишком прозорлив и наблюдателен, и неумел в качестве любовника. Любовные приключения, пережитые Адамом, получают итоговое воплощение в книжном варианте — создании антологии «Эрос: Великая любовная поэзия всех народов», после чего за ним укрепляется слава знатока женской психологии (какой он *знаток*, мы сумели убедиться на предыдущих страницах!). Втихомолку же он развлекается порнографическими книжками да сочинениями небезызвестного мизогиниста Мебиуса.

К любопытным особенностям романа следует отнести и иронию над автомифом. Над его созданием Вирек усердно трудился на протяжении

нескольких десятилетий, но в конце жизни был вынужден все же признать некоторую старомодность своих литературных вкусов и предпочтений. Он вложил в уста одной из учениц колледжа, где преподает Адам Гринлиф, следующее замечание о своем педагоге: «Он постоянно разглагольствует об Элиоте и Паунде, а на самом деле любит Киплинга и Суинберна». Это перекликается с его признанием сыну, Питеру Вирeку, известному американскому поэту, в письме 1952 года: «Я принадлежу к первому десятилетию XX века или даже к XIX, а ты к середине XX. По некоторым стихам я надеялся, что ты продвинешь или, напротив, вернешь поэзию к великому потоку традиции, но твое развитие пошло совсем по другому пути. ...Может, я не прав. Может, я лишь обломок прошлого...»

Но если нанизываемые на одну нить эпизоды развенчания приписываемых мужчинам достоинств предсказуемы, по-настоящему неожиданной оказывается концовка романа, выходящая уже на уровень жанра шпионского боевика и авантюрно-приключенческого дискурса. Великая, постоянно ускользающая из объятий Адама, Стелла оказывается не прекрасной богиней Любви, Венерой, многое объясняющей своему незадачливому поклоннику в этой области, а преступницей, членом международного синдиката, занимающегося наркотиками, торговлей людьми и азартными играми, вовремя ускользнувшей от вездесущих сотрудников ФБР. Таким образом, роман Вирека оказывается не только развенчанием легенды о мужской состоятельности в эротической сфере, но и разрушением идеи Вечной Женственности, которой не в состоянии соответствовать современная женщина.

Итак, Стелла, символизирующая Любовь в ее самых разных ипостасях, проносящая ее сквозь века и страны, поражающая своим протеизмом, на деле оказывается фальшивой куклой, меняющей парики, пользующейся разнообразными накладками и только разыгрывающей страсть... Символ Любви оказывается неспособным на подлинную любовь. Важно и то, что героиня находит сладострастное удовольствие в мучениях, которые доставляет мужчинам, являясь, таким образом, законной наследницей Ванды фон Дунаевой, поразившей воображение современников жестокостью своих действий в повести Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах», хорошо известной Вирeку. Забавно, но у него был и другой предшественник, о котором он наверняка не знал. В годы Первой мировой войны, когда немецкая шпиономания достигла предела, Алексей Толстой написал рассказ «Прекрасная Дама», где восхитительная спутница героя оказывалась обыкновенной шпионкой, крадущей у него важные документы. Таким образом уже в 1916 году подвергся деконструкции пустивший корни в эстетическом сознании начала XX века миф о недоступном и высоком предназначении женщины.

В конце вирековского романа элементарнейшим образом «разъясняются» все тайны героев. Покровы спадают, и оказывается, что эти напыщенные леди и джентльмены были мелочны и фальшивы: балканский дипломат пробавлялся мелкой контрабандой, неотразимая соблазнительница Ирма Ривингтон, кокетничавшая с Адамом, сотрудничала со Скотланд-Ярдом, Освальд Ван Нордхайм на поверку оказывался не ученым-химиком, а следователем Комиссии по наркотикам при ООН и т. д. Находят объяснение и все чудеса, которые поразили простодушного Адама, уверенного в своей проницательности. Рукопись рассыпалась в его руках потому, что была пропитана особым химическим составом; видения, которые посещали его, вызывались действиями наркотиков...

Но все житейские объяснения не отменяют главного — неистребимости и необъяснимости любовного влечения и тайны человеческих привязанностей, которая на самых последних страницах книги выступает в образе индийской богини Лакшми, принявшей облик гигантской черепахи. Она с ненавистью глядит на Ван Нордхайма, находящего всему рациональные объяснения, и более благосклонно взирает на Адама, который готов поверить в небывалое и отдаться потоку чувств.

Хотя в послесловии к роману биограф Вирека Василий Молодяков утверждает, что имя автора уже не требует пояснений, собственные мои разыскания убеждают в обратном. Даже среди филологов вызывает недоумение весть о существовании ярого и эпатирующего общественность декадента на фоне стабильно реалистической литературы Америки начала XX века. Он действительно выглядел неким enfant terrible среди таких фигур, как Теодор Драйзер и Эптон Синклер, Джек Лондон и Марк Твен. Среди его кумиров были художники и философы разных национальностей — Бодлер, Россетти, Уайльд, По, Ницше, Суинберн, Метерлинк. Иными словами, весь модернистский синклит эпохи. Это во многом определило некоторую сумятицу и подражательность его первых творений, что, однако, решили не замечать восторженные покровители молодого дарования — Людвиг Фульда и Джеймс Хьюнекер. Приход Вирека в русское литературное сознание запоздал еще и в силу его политической ориентации, которая во многом определялась националь-

ной идентификацией: немец по рождению, написавший первые произведения на языке предков, он всеми силами стремился укорениться в американской действительности и литературной среде.

Это отразилось на его журналистской судьбе. Начиная с Первой мировой войны, он избирает целевой аудиторией своих изданий американцев немецкого происхождения. Разоблачая пропаганду, направленную против Германии, Вирек пытается опровергнуть версию относительно исключительной вины немцев в развязывании войны, выражает сомнения в правоте победителей. Оказавшись в Европе, интервьюирует Муссолини, Барбюса, Шоу и... Адольфа Гитлера в 1923 году, а через десять лет выказывает явные симпатии Третьему рейху. Он не оставляет надежды удержать США от вступления в новую войну, занимая таким образом заведомо проигрышную позицию в мире, где царит леволиберальная фразеология. Вирек-журналист оказывается такой же одиозной фигурой среди газетной братии, как ранее среди благопристойно-прогрессивных американских писателей. В итоге выступления в качестве политического обозревателя и сложные политические игры с сенаторами и конгрессменами привели его на скамью подсудимых, а оттуда в тюрьму. Он повторил путь горячо любимого им Оскара Уайльда, хотя причины заключения были различны... Как и для Уайльда, тюрьма стала для Вирека школой в понимании положения людей, превращаемых за решеткой в скотов; как и Уайльд, он написал о своем пребывании там.

Писатель Вирек всегда был склонен к уловлению закономерностей, запускающих механизм управления жизнью. Поэтому почти все его произведения сконцентрированы вокруг какой-то идеи, определяющей «историю человеческой расы». Он жадно ухватился за учение Фрейда: ему показалось, что «Колумб бессознательного» открыл закон, управляющий миром. Вирек не уставал разрабатывать интересовавшие его темы о «третьем поле», бессмертии и омоложении. Не чужда ему была и идея «воли к власти», программирующая поведение политиков. Отсюда определенная сконструированность его романов, типологически восходящая к жанровым формам прозы века Просвещения. Возможно, что годы, проведенные в заключении, заставили его еще более пессимистично посмотреть на будущее человечества, что отозвалось в романе «Обнаженная в зеркале». Его можно расценить как насмешку над родом человеческим, насмешку, в которой вывернуты наизнанку все привычные представления, опровергнуты устоявшиеся легенды, развеян ореол вокруг кумиров истории.

При всей предсказуемости наблюдений и выводов спасает это произведение надежда, что поиск любви не напрасен и что не всегда Божественной черепахе придется с сожалением и сочувствием смотреть на тщедушного и полного самомнения представителя мужского рода... Секрет нежности и взаимопонимания в любви, как кажется автору, не утерян окончательно. А донести до русского читателя эти мысли удалось переводчику — Андрею Леоновичу Гарибову, к сожалению, не успевшему при жизни увидеть издание этой книги.

Мария Михайлова, доктор филологических наук,
заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова

«Нигде и никогда мы так не разговаривали...»

Волосюк И. Под страхом жизни. Стихотворения. Тексты. — Киев: Радуга, 2013. — 88 с.

Донецк, а вместе с ним и все донецкое, в России сейчас, как говорится, в тренде. Причины безрадостные, и все же...

Общее несчастье помогло и нашей провинциальной словесности. Если она и не вышла на какой-то качественно новый уровень художественности и поэтической силы, то, по крайней мере, зазвучала громче, во всеуслышание.

Об усилении внимания к донецким авторам в последнее время свидетельствуют, например, множественные публикации «донецких» или о «донецких» в российских толстых литературных журналах. «Военная» лирика Дмитрия Трибуш-

ного опубликована во втором номере «Дружбы народов» за 2015 год. Второй выпуск «Крещатика» за 2014 год почти весь наполнен донецкими прозаиками и поэтами (обзор этого номера уже с совсем современными акцентами можно прочесть в «Новом мире», № 3 за 2015 год). В начале осени в Москве при поддержке фонда «Русский мир» вышел многолюдный (33 автора!) сборник лирики донецких поэтов «Час мужества». Дончанка Елена Стяжкина получает «Русскую премию — 2014». В «Урале» (№ 5 за 2015 год) опубликованы «Семнадцать писем из Донецка Людмилы Квашиной», передающих внутреннее состояние донецкого интеллигента в условиях бомбежки. Наконец, укажем на свежий обзор донецкой прозы в сентябрьском выпуске «Нового мира» (статья А. Краснящих). Примеры можно множить...

Книга Ивана Волосюка «Под страхом жизни» невольно читается именно в таком ключе. Автор — выпускник донецкого филфака, не чуждый настроениям почвенничества (правда, в последней книге эти настроения разреженнее, чем обычно), поэт, в чьих стихах «местный колорит» и приметы донецкой геопоэтики всегда были неотъемлемыми атрибутами. В его произведениях невольно ищешь или отклик на наши события, или их предчувствие.

На это обращали внимание и те, кто рецензировал сборник раньше.

«Я пытался найти ответы на эти вопросы (о том, что происходит в Донбассе. — О. М.) в книге своего друга “Под страхом жизни”. И не нашел. Не нашел потому, что он только ставит вопросы, но не дает на них ответа» (Игорь Михалевич-Каплан, Слово/Word, № 83 за 2014 год).

«В диптихе “Цхинвал” он написал строки, ставшие пророческими для самого себя и его родного города:

Теперь их лица мне знакомы,
И голоса знакомы мне,
Они весь вечер были дома,
А оказались на войне...

Многие стихи Ивана сбываются теперь. Надеемся, сбудутся и эти: “Вспоминается долгое возвращение домой”» («Литературная газета», № 20 от 21 мая 2014 года).

Однако, вопреки ожиданиям, в книге совсем нет каких-то пусть и поэтически преломленных социальных рефлексий, нет злобы дня, которая потом исчезает бесследно. А что же в ней?

Одна из наиболее сильных и симпатичных, на мой взгляд, мелодических линий книги — поэтическая ностальгия, очертания безвозвратно ушедшего — детства и юности автора, проникнутые духом эпохи, уже не прошлой, а позапрошлой — эпохи 90-х. Именно за приметами старого быта скрывается духовный источник автора — поэтому и молоко в «пирамидке» на обложке. Вообще, нужно отметить яркую предметность, вещность художественного мира книги. Повсюду здесь рассыпаны своеобразные *крупицы бытия*, которые сверкают, как драгоценности, в «литературном шлаке», которого в книге тоже немало.

В процессе чтения сборника, однако, все сильнее ощущение обыгрывания этой темы в постмодернистском ключе. Погружаясь в поэтические эксперименты, Иван Волосюк как будто сознательно идет к разрушению собственной поэтики. Он чувствует, что ему тесно в «старом» своем языке, а новый еще не найден. Энтропия слова от начала к финалу все нарастает. Автор отчаянно ищет, но не всегда обретает.

Поэт делает смелую попытку соединить трудносоединимое: провинциальный сплин, ностальгию и постмодернистское ощущение реальности, причем соединить, не впадая в обычно присущую подобным попыткам иронию, стеб (удачей в этом отношении, на мой взгляд, является верлибр «Когда приезжали родственники...»).

Это выливается в стремление сделать в слове и с помощью слова как бы отпечаток настоящего. Это воплощается с помощью «прямого слова» действительности (особенно в «Текстах»), через использование характерной современной стихотворной манеры с длинными строками и дактилическими рифмами (например, стихотворение, открывающее сборник) или просто через отобра-

жение каких-то реалий современности: политика, магазин «Форнетти» и кофе Bueno, социальные сети, Интернет, IT-лексика и проч. Но, как ни странно, в свете быстро меняющейся действительности и нашего теперешнего состояния все это порой кажется какой-то архаикой. Этот «мир-супермаркет», который у автора довольно оригинально соединяется с темой малой родины (например, в стихотворении, посвященном Александру Кораблеву, «Пачка влажных салфеток, “Донецкие новости”, кола...»), лишь изредка преобразуется в подлинно художественную реальность.

Иван Волосюк иногда слишком многословен и пишет, по собственному признанию, «словно врач в поликлинике, неразборчиво», его лирическое состояние бывает откровенно разреженным (поэтому «Тексты»). Иногда его стихи избыточно филологичны: здесь находят место такие слова, как «кириллица», «контаминация» и даже «Грамматика-80». Весь этот пестрый хаос, правда, иногда оборачивается неожиданными откровениями, вроде «Майский жук одинок во вселенной...». Рядом с абсурдным в негативном смысле «Кнутом Гамсуном» оказывается замечательной силы лирический фрагмент «Вспоминается долгое возвращение домой...» с интонацией неспешной близкой беседы и проникновенного припоминания, вовлекающего в себя читателя. Найденная поэтическая интонация здесь проста и неповторима.

Для Ивана Волосюка, автора нескольких поэтических сборников, «Под страхом жизни», на мой взгляд, — книга кризиса, книга поиска подлинного себя, поиска, который неизвестно куда приведет, и — главное — самая честная из всех его книг.

Олег Миннуллин, кандидат филологических наук,
доцент кафедры истории русской литературы и теории словесности
Донецкого национального университета

Берега расставания

Орлов А. В. Кравотынь. — М.: РИСИ, 2015. — 122 с.

В дебютный сборник поэта, публициста и историка Александра Орлова «Кравотынь» вошли пятнадцать рассказов, главная тема которых — Великая Отечественная война. Часто их герои — ветераны, дети войны, родные автора, солдаты и партизаны, ждавшие и не дождавшиеся их женщины. Все они сохранили православную традицию: в рассказе «Юродивые дни» повествуется о монахе, не сложившем пострига, но помогавшем людям в миру. Однако православная символика сочетается порой с описанием жесточайших военных эпизодов и связанных с ними нравственных коллизий.

Трогательные и точные, порой мистические описания природы позволяют говорить об уверенном владении автором языком и стилем всеобще понимаемой русской литературной традиции. Призывников первых месяцев Великой Отечественной в рассказе «Свинцовые косы» переправляли на другой берег Волги. Поднялась волна, река *«словно знала, что в последний путь провожает»*. Женщины нашли рыбака, тот отложил удилище и на лодке переправил их *«на берег расставаний»*, к железнодорожной станции. Раненную во время оборонных работ осколками девочку Томку спасает кошка: *«В крещенские морозы наша сибирская кошка запрыгнула ко мне в постель — и давай тереться об меня и урчать... До самого Благовеста я просыпалась каждое утро от нежного мурлыкания... а на Вербохлест хворь моя вся вышла»*. Героя, приехавшего в Епифань,

«влекло в хмурый Епифановский лес. Казалось, он хранит столетние тайны в своих неприкосновенных чащобах». Эти моменты не просто поэтичны. В них отчетливо явлены признаки символического реализма, православных мотивов, может быть, сравнимых с теми, что видны в рассказах и повестях Алексея Варламова.

Александр Орлов касается и неизвестных, даже сенсационных эпизодов Великой Отечественной, таких, как удивительное историческое упрямство Легиона французских добровольцев, повторившего путь Великой армии Наполеона от Смоленска до Бородина с тем же результатом в рассказе «Бородинское крещенье». В этом рассказе исторические плоскости пересекаются, взгляд автора и читателя преломляется, выхватывает из пороховых дымов и кровавого тумана фигуры командира 2-го батальона лейб-гвардии Литовского полка Тимофеева, возглавившего полуроту добровольцев Гвардейского флотского экипажа мичмана Лермонтова — своего рода толстовских «капитанов Тушиных». Таких героев Бородина было много, они, честно, отважно и с умом исполняя свой долг, внесли столь же значительный вклад в исход сражения, от которого наполеоновские полчища так и не смогли оправиться, сколь и наши прославленные полководцы. Этим героям досталось мало славы, но в том, что Александр Орлов напоминает нам о них, помимо настоящего благородства автора, есть и надежда для всех нас. Надежда на память будущего поколения граждан современной России. Ощутимая помощь предков в нашей традиции — с давних времен: накануне Невской битвы старейшина ижорян Пельгусий увидел ладью, а на ней — святых благоверных князей, и Борис сказал: *«Брат Глеб, вели грести быстрее, да поможем сроднику нашему Александру»*. Возможно, герои Бородина, встав из метели, помогли остановить катившиеся к Москве танки Гудериана. Возможно, их тени снова встанут и остановят строительную технику, подбирающуюся к костям героев на Бородинском поле. И хотя те далекие берега неизбывного расставания уже почти скрыты от нас и бороться с алчными спекулянтами сложнее, чем с обуянными самомнением вояками Наполеона и Гитлера, и на них, и на тех героев — вся наша надежда. На такие размышления наводит проза Александра Орлова. В этом ее подлинная актуальность.

Александр Орлов — жестче, самостоятельнее в стилевом отношении, чем иные авторы, действующие в избранных для себя рамках. Проще говоря, он сдал все свои значки-ярлычки, очевидно относящие писателя к какому-либо направлению, еще обучаясь в Литературном институте. Оставляя критикам и комментаторам след ярких цитат, легко провоцируя на известные историко-культурные реминисценции, он мощно устремляется в пространства, не регламентированные правилами литературных группировок, за красные флажки оцепления. Эта проза оптимистична, она указывает на возрождение того рода духовной деятельности, которая является исторической базой всякого иного успеха.

Сергей Шулаков, писатель, критик,
постоянный автор журналов «Москва»
и «Наш современник»

ОТ РЕДАКЦИИ

Год Обезьяны, наверное, неслучайно совпал с указом Президента России Владимира Путина от 7 октября 2015 года № 503 «О проведении в Российской Федерации года российского кино».

Кино у нас любят. Особенно советское. А все новое российское как-то сразу не задалось. Наверное, потому, что в кино как в литературе. Выживают сильнейшие или те, кто первыми смогут добраться до государственной кормушки или распределения грантов.

Это особый талант, немного отличный от завета, оставленного Сергеем Эйзенштейном: «Искусство подлинно, когда народ говорит устами художника».

Вот, к примеру, фильм «Левиафан», о котором все забыли, потому что кончились деньги на PR, профинансировал Минкульт. С завидной регулярностью гранты получают и прочие как бы режиссеры. Поэтому мартышка может кривляться столько, сколько ей заблагорассудится. Никого кроме себя в зеркале она все равно не увидит.

А вот молодые, начинающие режиссеры о кино могут забыть. Даже короткий метр снять нынче — удовольствие не из дешевых. Андрей Малаев-Бабель на закончившемся недавнем фестивале документального кино в московском кинотеатре «Горизонт» с грустью сказал, что его фильм, посвященный знаменитому деду, получился малобюджетным, всего 200 000 $!

В афиши и на экраны попадает лишь то, что приносит немалую прибыль продюсерам и создателям. А вот фильм молодого режиссера Ратмира Лутфуллина никто, за исключением парочки критиков, не увидит. Вот поэтому «Юность» и отдает свои страницы для рецензии на этот фильм.

Возможно, именно наша рецензия станет для него отправной точкой успеха. Во всяком случае, мы на это надеемся и желаем другим молодым режиссерам не падать духом. Государство поставило на вас крест, но читатель и зритель с вами.

Дерзайте!

Игорь Михайлов

Сто рублей новыми деньгами

Money makes the world go around
The world go around
The world go around! —

как пела в фильме Боба Фосса «Кабаре» блистательная Лайза Минелли.

Припев в этой песне — как мантра, множество раз повторенное слово «мани»!

Ну кто же на самом деле не хочет заработать много денег, чтобы потом не работать и всю жизнь отдыхать и бить баклуши?

Но деньги — такая вещь, увлекшись ими однажды, ты рискуешь навсегда остаться в этом призрачном царстве. Впрочем, призрачном, но довольно могущественном!

Деньги не отпускают, они, как магнит, зовут в свои ласковые, но губительные сети.

Фильмов о том, как заработать или, наоборот, потратить миллион, о мании денег множество. Особенно сейчас, когда их нет ни у кого — ни у государства, ни у граждан.

Но деньги любят предприимчивых и богатых.

В прежние времена Россия всегда славилась своими благотворителями: С. И. Мамонтов, М. К. Тенишева, П. М. Третьяков, К. Т. Солдатёнков, А. С. Уваров, А. Д. Вяльцева и т. д.

Была даже такая поговорка: «Бог дал его человеку в пользование и потребует отчета, с собой богатство на тот свет не унесешь».

А что сейчас?

А сейчас наши новые богатые гораздо более скромнее, чем, к примеру, основатель социальной сети Цукерберг, который жертвует на благотворительность 99 % стоимости своих акций, а это порядка 45 млрд долларов.

Кто может из отечественных миллиардеров и миллионеров похвастаться такой щедростью?

Впрочем, фильм «20 минут с ангелом» молодого режиссера Ратмира Лутфуллина, студента четвертого курса Санкт-Петербургского института кино и телевидения, вроде бы и не про деньги.

Сюжет его довольно прост и незамысловат. Два бизнесмена, оказавшись в Париже и заключив сделку, очень хорошо погуляли. Поутру они проснулись, парижские ночные бабочки упорхнули, обронив, словно невзначай, пачку презервативов. Из окна видна Эйфелева башня.

— *Что она тут делает?*

— *Живет!*

Картина начинает проясняться. В кармане ни сантима. Похмелье взыскует...

Покуда наши герои маются от русской болезни, заметим, что сценарий фильма подсказан Ратмиру одноактной пьесой Александра Вампилова «Сто рублей новыми деньгами». Она написана в середине 1960-х годов. А впервые была опубликована в журнале «Театральная жизнь» в 1987 году за подписью «А. Санин». «Сто рублей новыми деньгами» — вариант пьесы «Двадцать минут с ангелом»...

Зачастую молодые кинематографисты пренебрегают сценарием, в результате в дебютных лентах — пустоты.

Фильм Ратмира на этом тусклом весьма фоне выгодно отличается от множества киноподелок...

В гостинице — россиян немало. В ответ на стоны и прыжки на стену от отчаянного положения приходят скрипач, приехавший на заработки, супруг, очутившийся в городе, в котором всегда праздник, в медовый месяц.

Душа русского человека с похмелья рвется наружу. Глава фирмы в матроске, словно матрос Железняк, из окна гостиницы бросает вызов обществу потребления:

— *Ну кто даст взаймы 500 евро? Капиталисты, хуже московских!*

Но Париж глух к мольбам потерпевшего крах в борьбе с зеленым змием русского бизнеса.

В экране телевизора мелькают кадры фильма Норы Эфрон «Майкл» с Джоном Траволтой и незабываемой Энди Макдауэлл. Первое явление ангела Траволты обескураживающее. Такое же, как и в картине Ратмира...

В комнату стучится скромный молодой человек с небольшой бородкой. Почти эспаньол-

ка — родовая примета облика дореволюционного интеллигента. Чудак дает незадачливым пьянчужкам 500 евро. Просто так, даром. И еще превращает воду в водку!

Собственно, далее все в фильме развивается согласно пьесе Вампилова с небольшими вариациями. Но общий тон таков: решительно никто не верит в добрые намерения незнакомца. Командированные привязывают «злодея» к стулу. В комнате собираются все слои нашего общества в миниатюре: командированные, скрипач, студенты-молодожены.

Никто не верит в добро и альтруизм: здесь кроется корысть, деньги, должно, быть фальшивые, и т. д.

Надобно заметить, что времена меняются, а это неверие — остается.

И только девушка, словно ожегшись о добрый и бескорыстный взгляд незнакомца, говорит своему супругу:

— *Ты только всегда про деньги думаешь!*

Ратмир Лутфуллин пытается и сам понять, что же такое с нами происходит. Пятьсот евро — словно лакмусовая бумажка. Комната гостиницы — срез нашей жизни. Россия переживает искушение богатством. Тем более в кризис. Какой нормальный подарит совершенно незнакомому человеку вот так запросто 500 евро?

Ратмир будто задает всем нам этот почти проклятый вопрос:

— А вы поверите в это?

Наши в Париже не поверили. Да и герои Вампилова, хотя это было почти полвека тому назад, в российской глубинке, а не в Париже, тоже не поверили.

Фильм молодого режиссера наполнен реминисценциями. Вспомним хотя бы замечательный фильм Юрия Мамина «Окно в Париж». Чем-то неуловимым девушка из фильма Ратмира напомнила романтичного преподавателя Николая Чижова.

Наверное, романтики и спасут этот грешный мир от стяжателей. Неистребимые романтики, которых немало. И, наверное, не спонсоры, а именно благотворители.

— *Скорее уходите отсюда!* — говорит девушка ангелу.

Пьеса Вампилова заканчивается несколько иначе.

Х о м у т о в (встрепенулся). Да нет, товарищи, ничего, ничего. Жизнь, как говорится, продолжается...

Пауза.

А н ч у г и н (запел). «Глухой, неведомой тайго-о-ою...»

У г а р о в (Базильскому). Подыграйте, товарищ скрипач.

А н ч у г и н (продолжает). «Сибирской дальней стороной бежал бродяга с Сахали-и-ина звериной узкою тропой...»

Анчугин и Угаров повторяют две последние строки вместе.

Базильский вдруг подыгрывает им на скрипке. Так они поют: бас, тенор и скрипка...

Раз никто в него не поверил, ангелом он так и не стал. А Ратмир поверил в своего ангела. И его ангел возносится на небо, как и ангел Джона Траволты.

Остается добавить, что премьера фильма «20 минут с ангелом» состоялась на международном фестивале студенческих фильмов «ПитерКит».

Хочется надеяться, что дебют молодого режиссера не останется незамеченным, особливо теми, кто при деньгах и от кого в Год кино зависит судьба отечественного кинематографа!

Михаил Филиппов

Марина ЗАВЬЯЛОВА

Марина Завьялова живет в Москве. Родилась в семье военнослужащего, мама и старшая сестра — филологи. Работает в сфере телекоммуникаций, всю жизнь пишет стихи. Недавно начала пробовать себя и в прозе. Состоит в Союзе писателей России, Российском союзе писателей, награждена медалями имени Чехова и Лермонтова. Публиковалась в литературных альманахах и журналах «Золотое Руно», «Кольцо А» и др. Издала четыре поэтических авторских сборника: «Сокровище» (2003), «Сорок» (2010), «Предчувствие» (2012), «Навстречу солнцу» (2015).

Ипотека

В Москве выпал снег. Кажется, так начинаются миллионы рассказов. Но по-другому сказать нельзя и за миллион долларов! Или рублей, что более актуально. Ирочка шла и думала, где взять этот миллион.

— Фигня, — сказал бы муж, — ты на это подписалась, вот и ищи. Я предупреждал.

— Лучше отдай его мне, — сказал бы любовник (по-старому, а на нормальном языке МЧ), — я что, задаром варю тебе кофе после?..

— Работай, цветок, — сказал бы начальник (по-человечески — шеф), — не будет инициативы — сама принесешь «лимон» в компанию. Наличными.

Ирочка никогда не рассчитывала на мужчин, и это спасало. Первую золотую вещицу она купила себе сама, как и первую шубку. Не знала, что данный процесс станет традицией. Иногда, правда, проносилось в голове: «Где ты, мой принц, с миллионом роз, талантов и долларов, разумеется?» Принц не появлялся, но это и к лучшему: у подруг «миллионщики» через пару лет растворялись в тумане или принцев не было вообще. Нищих, кстати, тоже.

Выпавший снег прикрывал скользкую дорогу, каблуки ехали по льду. Можно было грохнуться в темноте, и тогда миллион понадобился бы на лечение.

— Девушка, вас подвезти?

«Джигит» на мерседесе ловко притормозил и лучезарно улыбнулся юго-восточной улыбкой. «Как они надоели... — Ирочка не восприняла джигита и гордо шла, держа баланс, словно на подиуме. — Если шубка и блондинка, значит, останавливаются. Если не в линзах, а в очках и в пуховике, то и в метро место не уступят. Уроды!»

В воздухе миллионы снежинок сверкали в лучах света от реклам, фонарей и фар. Город словно ожил после темной, аномально теплой осени, когда не поймешь, что вообще происходит.

Ирочка толкнула дверь банка, в холле сделала строгое лицо. Лифт взлетел на десятый этаж и погрузил ее в обволакивающее сиреневое царство офиса.

— Здравствуйте, проходите. — Вполне благополучная «банкирша» проводила ее к стойке.

Ирочка достала бланки и привычным жестом подписала бумаги.

— Да, вам остался всего лишь миллион, — дежурно-обрадованным голосом сообщила красавица, — совсем немного!

Из банка Ирочка возвращалась в полной темноте. Проехав час на метро, она выскочи-

ла в мороз, в тишину, и пошла по своему кварталу. Миллионы огней светились в темноте в огромных домах, но свет до улицы не доходил. Зачем она взяла ипотеку? Теперь в стране непонятно что творится, курс доллара дикий, и зарплату не индексируют...

— Опять ты где-то ходишь, — сказал муж, — так поздно могут и убить.

— Опять идешь играть в семью, — пропищал по вайберу МЧ, — никто по дороге не изнасиловал?

— Завтра в 8:30 с отчетом к боссу, без меня, — позвонил бы шеф. Но он уже мирно спал в своей не ипотечной многомиллионной квартире.

Ирочка посмотрела в окно: внизу светилась елка, установленная за полтора месяца до праздника для украшения жизни. Ирочка вздохнула, улыбнулась себе в зеркало, взяла пачку морской соли и пошла в ванную. Потому что нет ничего важнее собственной гордости, красоты и жилплощади.

— А мужчины все равно ничего не понимают, — вдруг добавил кто-то, то ли ангел, то ли Дед Мороз. — И, кстати, их миллионы...

г. Москва

Елена КЛИМОВА

Елена Климова родилась в 1949 году в Москве. Окончила физико-математическую школу, Московский финансово-экономический институт. Работала во Внешэкономбанке СССР, во Внешторгбанке. В настоящее время живет и работает в Истринском районе, в поселке Борки. Издала две книги (2011, 2014).

Подарки

В храме Апостолов Петра и Павла, что в деревне Лужки, идет воскресная служба-литургия. Храм небольшой, возрожденный, живет активной христианской жизнью, помогая, укрепляя и насыщая. Горят лампады и свечи, и от этого уютно и тепло по-домашнему, только где-то почти у сводчатого купола приоткрыты небольшие оконца. От слабого дуновения холодного воздуха пламя свечей слегка колышется. Чувствуя поток свежести, я поправляю на плечах белый кружевной платок. Мысль о богослужении рассеивается (прости, Господи, душу мою грешную), и я вспоминаю.

Этот платок очень много лет назад мне подарила моя подруга Вика. Она протянула мне что-то воздушное и нежное и сказала:

«Леночка, возьми в подарок этот платок. Его связала мама из очень тонкой шерстяной нитки. Видишь, он легкий, как пушинка, но очень теплый. Пусть будет от меня память».

Меня тогда поразила сила этого подарка. Вещь, к которой прикасались руки матери не один вечер, была отдана мне. Это несравненно дороже любого, даже очень дорогого сувенира, купленного в магазине.

Много лет я укрывала плечи этим воздушным кружевом и удивлялась тому, как он меня согревал, но понимание ценности подарка с годами стерлось. И вдруг в храме я вновь испытала то почти забытое пронзительное чувство благодарности. Благодарность — как Божия милость, сущая в храме.

Некоторые вещи, особо любимые, живут в наших домах очень долго. Реклама кричит, навязывает, заманивает, а я достаю при необходимости из шкафа старенький желтый термос, когда-то оставленный мне моей подругой Симой. Она готовилась уехать в Америку, и ворох вещей, нужных и ненужных, надо было пристроить-распредилить по родным и знакомым. Конечно, мне очень хотелось получить какую-нибудь хрустальную штучку, такую модную в те времена, но мне достался термос. Это был подарок от близкого и уважаемого мной человека, а значит, и к оставленной вещи было отношение уважительное.

Менялись места моего обитания, и я перевозила термос, каждый раз аккуратно упаковывая, с места на место. Теперь он обосновался у меня в шкафу, в любимом мною загородном доме. Я завариваю в нем шиповник или душистую таволгу, растущую в ближайшем лесу, и с наслаждением пью ароматный чай. Конечно, я купила китайские блестящие термосы, но они не хранят тепло так, как мой любимый желтый термос. Уже исполнилось тридцать лет, как мы существуем с ним рядом. Совсем недавно я поняла: термос — это символ наших с Симой нежных и теплых отношений, которые остались прежними несмотря на расстояние, нас разделяющее, и годы, прожитые вдали друг от друга.

Так получилось. Сын ушел с работы, не найдя новую. У меня внутри все кипело: «Ну разве можно уходить вот так, в никуда?» У нас с ним очень близкие и доверительные отношения, и я понимала, как необходима ему материнская поддержка, но внутренне одобрить его решительность было крайне сложно. Когда я сказала: «Поступай так, как считаешь нужным», то услышала: «Мамочка, я знал, что ты меня поймешь. Спасибо тебе». И я поняла, что предел терпения сыном был исчерпан полностью. Он должен был либо раствориться в системе подавления и власти, либо поступиться своими жизненными принципами. Я увидела не слабость его, а силу.

А потом начался многомесячный поиск работы. Изматывающий и не повышающий самооценку. Газеты пестрели рекламными «зазывалками», а на деле оказывались пузырями аферных сделок.

Я обратилась к своим многочисленным знакомым, но никто не откликнулся: ни те, кто мог в силу своего высокого положения помочь, ни те, кому в такой же ситуации когда-то помогла я. Двери были наглухо закрыты. Видимо, шел непростой процесс обучения сына долготерпению и смирению. И тогда я позвонила своей подруге Анечке. Она откликнулась, услышала материнскую душевную боль и восприняла ее как собственную. Я знаю, как непросто было ей уговорить, убедить тех, кто принимал такое решение, оказать помощь, но она этого добилась.

Доброе сердце взращивает добрые дела, и становятся они щедрым подарком нуждающейся душе.

Истринский район Подмосковья

Александр ШЕМЕТОВ

Александр Шеметов родился и вырос в Крыму. Служил в Германии. В 1976 году окончил Днепропетровский горный институт по специальности «автоматика и телемеханика». Работал инженером в Харькове. Проектировал тепловые электроцентрали на металлургических комбинатах ближнего и дальнего зарубежья.

Короткий эпизод из жизни бывшего разведчика

В этой истории ничего не выдумано. Даже имя главного героя осталось таким же, как и записано в его свидетельстве о рождении, — Гарстуков Валерий Павлович.

Валерий Павлович был полковником в отставке. Основная его служба прошла в Главном разведывательном управлении, знал он множество государственных секретов, но с тех пор, как вышел на пенсию, решил, что неплохо бы половину этих знаний забыть. Ну к чему теперь помнить, как вербовать шпионов или выведывать тайны у всякого рода личностей. Ему теперь остается ездить к морю в Крым, валяться на пляже, встречаться со старыми знакомыми в Судаке. Судак — это город его юности. Тут он окончил школу, тут осталась родительская квартира, тут до сих пор жили его школьные товарищи. О том, что Гарстуков был полковником, знали многие, а вот о том, что его служба прошла в ГРУ, он мало кому рассказывал. И не потому, что это было большим секретом, просто обходились без подробностей. Полковник и полковник. Даже о том, что он доктор наук, Валерий Павлович упоминал редко. Теперь все равно пенсионер. Хотя военные пенсионеры не такие уж и немощные, как это может показаться молодым соотечественникам. Сил у Валерия Павловича хватало и в море проплыть — не каждый молодой угонится, и выпить при случае, не очень-то хмелея.

История, о которой пойдет речь, для других, может, ничего особого и не представляет, но Валерий Павлович в очередной раз понял, что его прошлая жизнь связана с настоящей неразрывными узами.

Приехав в Судак, он случайно попал в компанию своего нового знакомого Сергея Ивановича Новикова. Его привел туда школьный друг. У Новикова в квартире собрались гости на какое-то торжество, среди которых оказалась родственница хозяев Людмила со своим гражданским мужем Лехой. Гарстуков поначалу их не очень-то и замечал. Мало ли кто к кому приходит. Однако вскоре эта парочка привлекла внимание всех присутствующих. Как стало выясняться в процессе общения, Людмила с Лехой вот-вот должны были расстаться. Они вели общий бизнес, держали маленький ресторанчик, но муженек, на которого были оформлены все бумаги, собирался ресторан продать, деньги прикарманить, а свою благоверную пусть по миру.

Такое положение, естественно, никому не понравилось. Особенно оно не понравилось школьному

другу Гарстукова. Он и шепнул Валерию Павловичу, что надо вмешаться. Если сейчас не разрулить ситуацию, этот Леха оставит Людмилу без средств существования, а у той на руках престарелые родители.

— Так что ты от меня хочешь? — спросил Гарстуков.

— Пошевели мозгами. В прошлом году ты сообразил, как организовать всему коллективу приличный отдых. Вот и теперь напрягись.

Гарстуков только рукой махнул. Не его, дескать, заслуга. Тогда была другая ситуация.

— Не прибедняйся, — сказал друг. — Благодаря тебе народ целый месяц на элитном пляже бесплатно загорал.

В прошлый сезон действительно вся их большая компания грела животы на самом престижном пляже города. Причем все ходили туда как к себе домой. Единственная фраза, которую они бросали через губу охраннику, была: «Мы от Валерия Павловича!» И не потому, что Валерий Павлович был такой всемогущий, а потому, что удачно сложились обстоятельства. Тот случай и сейчас у многих вызывает ностальгию.

Накануне на набережной Гарстукова познакомили с завхозом одного из местных пансионатов, в ведомстве которого находилась хорошо оборудованная прибрежная зона. Этот хозяйственник сожалел, что пансионат построил новый корпус, но людей нет. У персонала от этого заработок теряется. А Валерий Павлович ждал как раз двоих своих товарищей, приехавших из Москвы, которые поселились неподалеку в гостинице. Завхоз, когда услышал про московских гостей, сразу предложил, чтобы те перебирались из гостиницы в его здравницу. Таких условий, как у них, ни у кого нет. Навесы и шезлонги привезены из заморских краев. Гарстуков развел руками и сказал, что никто ведь не видел ни навесов тех, ни шезлонгов, а потому и сравнивать не с чем. Сказал просто так, без всяких намеков. Но главный ключник пансионата расценил это по-своему. Ему захотелось показать москвичам свое хозяйство. Он настоял, чтобы Гарстуков сегодня непременно загорал на подвластной ему территории и дождался там своих товарищей. А сам дал распоряжение охране, что если кто будет идти к Валерию Павловичу, пропускать беспрепятственно. Причем велел приказ сменщикам передать. Никто же не виноват, что он не назвал ни количество людей, которых нужно пропускать, ни сроки их пребывания на шезлонгах. А потому грешно было не воспользоваться таким гостеприимством. Гарстуков тут же передал по цепочке информацию о сложившейся обстановке, а дальше публика уже сама знала, что предпринять. Если раньше все теснились на обычных пляжах, где пятки чужих соседей упирались им в подбородки, то после подвернувшегося случая перебрались туда, где до чужих соседей и не допрыгнешь. Охрана менялась, но приказ действовал, потому что его никто не отменял. Гарстуков даже сам иногда, чтоб долго не объяснять, говорил охранникам: «От Валерия Павловича!» Так и пошло. Через время он уехал, а народ все ходил и ходил от его имени. Подвизались даже те, кто Валерия Павловича и в глаза не видел.

Теперь все обстояло иначе. Теперь надо было влезать в семейный конфликт, а дело это неблагодарное. Не заметишь, как сам виноватым окажешься. Не известны ведь истинные причины семейного разлада.

— Ну, так чем помочь Людмиле? — настаивал школьный друг. — Если Леха деньги прикарманит, она пропадет. Этот козел в долгах, как в шелках. В прошлом году ездил в Лондон. Просадил все финансы в английских харчевнях. Говорит, перенимал ресторанный опыт для своей забегаловки. Теперь боится, что кредиторы мозги ему вышибут в темном переулке. Знаешь, как у нас его прозвали за английский вояж? Сыном Альбиона! А потом просто Альбионом, как мою собаку. Как бы вообще не смылся из Крыма.

Гарстуков покосился на Леху. Бывший сын Альбиона, а нынче просто Альбион, уже хорошо захмелевший, в этот момент говорил о трудностях провинциальной жизни. По его разумению, жизнь тут сплошное прозябание. В столицах люди с пониманием к предпринимательству относятся. Кредиты в банках дают. А тут не успеешь деньги одолжить — уже обратно требуют. Еще грозятся шею свернуть. А в столице за такую сумму никто и мараться не станет. Да и не только в деньгах дело. Там театры, концертные залы. Захотел комедию посмотреть — пожалуйста, захотел трагедию — будьте любезны. От живого искусства слезы на глазах наворачиваются. Если бы удачно продать ресторан, можно и задуматься о переменах в жизни.

Гарстуков, наслушавшись этих рассуждений, сказал:

— А зачем продавать? Можно и без продажи обойтись.
А в столицу потом перебраться.
Причем в любую столицу мира.
Хотя бы в Лондон.

Леха, услыхав про Лондон, поднял на Гарстукова глаза.

— Это как же? — спросил он.

Валерий Павлович ответил, что все вопросы можно решить, если к ним подойти с умом. Есть люди, которые заинтересованы в сотрудничестве с такими клиентами, как Леха. Они и утрясут все проблемы.

— Не понял, — сказал Альбион. — Ну, вам нужны деньги?

— Нужны!

— Значит, эта тема будет закрыта.

Дальше Леха услышал, что он может получить наличными сколько надо, кредитов взять сколько потребуется, а помощь в других вопросах не заставит себя долго ждать. И при всем при этом от самого Лехи потребуется всего ничего. Некоторая информация для заинтересованных лиц.

— Я как-то не очень понимаю, — промычал Альбион.

— Есть структуры, которые собирают сведения о разных государственных учреждениях, о природных ресурсах страны и вообще о самом государстве. Причем в разнообразных сферах. И в военной области, и в общественной жизни. На базе таких данных определяется потенциал интересующего объекта. На случай конфликтов. Вы должны включиться в этот процесс.

— Но я никаких таких данных не знаю. — От вас потребуют только то, что знаете. Будете передавать то, о чем толкует народ. Через ваше заведение проходит уйма клиентов. Они, когда выпьют, болтают обо всем, что на душе наболело. Вот это и будет интересовать людей в определенных кругах.

Леха, хоть и был во хмелю, но нутром почуял, что подобные беседы лучше вести конфиденциально. Он осторожно покосился на окружающих, проверяя, как они реагируют. Взгляд этот перехватил Валерий Павлович и сказал, что за столом случайных людей нет. Все они давно уже связаны обязательством помогать цивилизованному миру.

— Есть такое слово «оппозиция», — продолжал он. — Но вам предлагается нечто фундаментальное. Так сказать, более глубокий уровень сотрудничества. Дело в том, что о вас мы знаем больше, чем вы представляете. Вы, например, в курсе, что на вас готовится покушение? Жизнь ваша в опасности.

Леха опасность от кредиторов давно чувствовал. Но не до такой степени. Одно дело получить по зубам, а другое — сыграть в ящик. Лицо его стало вытягиваться, а руки чуть не опрокинули на столе рюмку. Валерий Павлович поспешил его успокоить, сказав, что он может считать себя под защитой. Только бумагу надо подписать.

— Какую бумагу?

— Заявление. Иначе на каком основании вас оберегать от посягательств? Отчеты в таких делах — первая необходимость. В доме есть бумага?

Когда подали бумагу, Альбион стал под диктовку писать заявление о добровольном сотрудничестве с английской разведкой. Написав несколько слов, он вдруг остановился и отложил ручку.

— Что такое? — не понял Валерий Павлович.

— Пальцы что-то сводит, — промямлил Леха. — Почерк не ахти. Может, завтра?

— Не валяйте дурака, пишите! Мы не в бирюльки играем!

Гарстуков снова сунул ему между пальцев ручку и продолжил диктовать дальше, а Леха, сопя и морщась, стал трясущейся рукой выводить каракули о том, как он по идейным соображениям желает помочь просвещенному человечеству.

— А если кто узнает? — спросил он, закончив писать. — Меня же... того...

— Кто может узнать? — ответил Валерий Павлович, передавая бумагу Людмиле. — Документ будет в надежных руках. Вы же имеете дело с серьезными людьми. Будете работать под псевдонимом Альбион.

Гарстуков на этом хотел закончить процедуру вовлечения Лехи в шпионскую деятельность, но тут хозяин дома Новиков Сергей Иванович стал менять ситуацию.

— Ну, хватит, — сказал он. — Надоела мне эта комедия. Я звоню в КГБ.

Он достал телефон и стал набирать номер. Аббревиатуры КГБ давно уже не существовало, но та организация, которая пришла на смену прежней, была не менее суровой. Это знали все. Валерий Павлович и сам, грешным делом, подумал, как бы хозяин дома не отмочил какой-нибудь финт. Мало ли что у него на уме. Доказывай потом, что была шутка.

— Клиент готов, — говорил между тем Новиков. — Приезжайте, забирайте! Иначе сбежит.

Новоиспеченный агент Леха под псевдонимом Альбион бежать не пытался. Он сидел, прижавшись к спинке стула, покрываясь испариной и тараща пьяные глаза на двери, откуда должны были появиться люди из компетентных органов. Он даже встать не порывался. От чекистов не убежишь. Тем более что Новиков тут же сообщил: те уже на подходе.

И в этот момент в квартиру вошли двое мужчин. Они прошагали к столу, оглядели окружающих и вытащили из карманов две бутылки коньяка.

— Знакомьтесь, — сказал Сергей Иванович. — Мои кумовья.

У Валерия Павловича отлегло от сердца. То, что он сам шутил, — это одно, а то, что Новиков может пошутить, он не ожидал.

— Так вы что, комедию разыграли? — прохрипел Леха.

— Ну вам же не хватало комедий в провинции, — ответил Гарстуков. — Вот вам спектакль в натуральном виде. И в столицу ехать не надо. Могли и слезы в глазах появиться.

Альбион сидел, втянув голову в плечи. Потом повернулся к Людмиле:

— Отдай бумагу!

— Пусть пока у меня полежит.

— Я не сам. Меня вынудили.

— Никто тебя не вынуждал, — буркнула Людмила. — Добровольно писал.

Леха повернулся к Валерию Павловичу:

— Пусть бумагу отдаст. Зачем она ей?

— Отдаст, отдаст, — успокоил его Гарстуков. — Или продаст. Это уже как получится.

В тот вечер Людмила бумагу так и не отдала. Леха и слезу пускал, и клялся в преданности Родине, но ничего не вышло. Даже клятва в преданности самой Людмиле на ситуацию не повлияла. Нечего было в шпионы лезть, когда мозгов нет. Впрочем, для Валерия Павловича эти семейные разборки были уже не важны. Его мысли переключились на другое. Он не то чтобы с сожалением, а скорее с иронией заметил, что весь его прошлый арсенал знаний не только не хочет улетучиваться, а, наоборот, прицепился к нему, как репей, и оторваться от него нет никакой возможности. Даже в такой пустяковой ситуации, как с этим Альбионом, первое, что пришло в голову, — его прежние навыки. Казалось бы, дел-то — плюнуть и растереть. Так нет! Развил инициативу, будто перед агентом международного масштаба. Тут хочешь не хочешь, а вспомнишь известный постулат: разведчиков в отставке не бывает. Чуть какая проблема — голова начинает мыслить определенными категориями. Вот и Леха благодаря этому постулату попался на крючок. С ним можно было, конечно, и попроще что-то придумать, но как вышло, так и вышло. Пусть еще радуется, что не завербовали в японские, китайские и американские шпионы. Попробовал бы тогда откупиться от Людмилы.

Крым

Валентин БАЮКАНСКИЙ

Валентин Баюканский — прозаик, публицист, член Союза российских писателей. Лауреат литературной премии имени Замятина. Автор шести книг.

Болтливая вода

Фантастический рассказ

— Эх, Еремей, Еремей, кому ты доверил свое сокровенное, выстраданное бессонными ночами открытие, — укорил себя Твердоумов и, тяжело вздохнув, продолжил чтение газетной статьи.

Особенно его возмутил абзац, написанный его коллегой: «Попытка молодого ученого А. Твердоумова наделить воду сверхъестественными непонятными науке свойствами явно несостоятельна и, можно сказать, невежественна. Нет никакой интеллектуальной воды, откликающейся на добро и зло. Выдвигаемая им теория хороша лишь для ненаучно-фантастических фильмов,

заполонивших в последнее время Интернет и рассчитанных на малообразованную публику, которая понятия не имеет об истинных свойствах монооксида дигидрогена».

— Все! Не могу больше читать эту напыщенную ложь! — воскликнул Твердоумов и отшвырнул газету.

Он сел в кресло. Закрыл глаза и стал вспоминать свое загадочное речное крещение, в которое облекся в самом начале жизненного пути. Эту историю ему по секрету поведал отец, попросив никому о ней не рассказывать. Когда Ереме не было еще и года, отец с родственником отправились в большое соседнее село, чтобы окрестить малыша в церкви. Перед дальней поездкой они, как водится, пригубили свойского самогона. В пути кто-то случайно задел лежащего на корме малыша, и тот упал в реку. Вода стала уносить запеленатого младенца. Мужчины кинулись вслед за ним и каким-то чудом успели поймать ребенка. К общему удивлению, тот был жив и даже не плакал. Напуганные мужики мгновенно протрезвели и дали друг другу слово никому не говорить о случившемся.

Ерема был смышленым подростком. Он, как и все Твердоумовы, считался в деревне умником: много читал, интересовался такими вещами, о которых его сверстники даже не подозревали. Юноша, например, мог подробно рассказать о любой звездной системе или планете, а также удивить собеседника, назвав без запинки столицы Гондураса, Мадагаскара или Буркина-Фасо — Тегусигальпа, Антананариву, Уагадугу. Была у Еремы еще одна странность: он, как и его отец, любил разговаривать с фруктами и овощами, которые выращивал. Однажды паренек признался в этом своей классной руководительнице, которая вела в местной школе несколько предметов, включая химию, которую тот обожал больше всего.

— Лидия Ивановна, представляете? Растения любят, когда с ними разговаривают, причем низким мужским голосом, — восторженно поделился семейным секретом Еремей. — Мой отец это хорошо знает и применяет на практике. После его похвалы фрукты лучше цветут. Но я заметил еще один важный момент. Когда я хвалю воду, которой поливаю растения, урожай становится больше и качественнее. Моя бабушка всегда заговаривала воду и давала нам пить при простуде и других болезнях. Мне ее «водное лекарство» часто помогало. Бабушка говорила: «Любовь повышает силу воды, ненависть — уменьшает». Вот я и решил тоже хвалить воду.

Учительница внимательно выслушала своего ученика и серьезно сказала:

— Еремей, ты об этом у нас в деревне никому, пожалуйста, не говори. Но опыты свои продолжай. Все тщательно записывай и анализируй. Окончишь школу — поезжай в Москву, поступай в университет. Может, там какой-нибудь настоящий ученый тебе все правильно и растолкует.

Когда Еремей поехал в столицу, отец, напомнив сыну о речном крещении, напутствовал:

— Знаешь, когда ты упал в воду, я взмолился: «Вода, помоги! На тебя вся надежда!» Если она тебя тогда не забрала, значит, вода с тобой дружит, это твоя стихия. Люби ее тоже и изучай — принесешь пользу людям. Хотя ученые исследуют воду давно, но все равно мало что о ней знают. И последнее. Никогда не пасуй перед трудностями — твердо стой на своем!

Во время учебы в университете Твердоумов заинтересовался работами советского ученого Бориса Дерягина, доказывавшего в свое время существование поливоды. По мнению известного физикохимика, та имела плотность на 40 % выше нормальной и закипала при температуре +300 °С. К тому же эта необычная вода отличалась вязкостью, в пятнадцать раз превышающей вязкость нормальной воды. И хотя Дерягин впоследствии отказался от собственных утверждений, идея о существовании особой воды не давала Твердоумову покоя. Еремей решил открыть доселе неизвестные науке свойства воды, которые можно будет использовать на пользу всему человечеству. Ведь до сих пор никто из его коллег-ученых не может четко объяснить, почему при минусовой температуре плотность воды увеличивается, а при плюсовой уменьшается. Также остается загадкой и то, почему вода — единственное вещество, которое может находиться в трех состояниях: жидком, твердом и газообразном.

Твердоумов с отличием окончил университет, и его как подающего надежды молодого ученого устроили на работу в одну известную лабораторию, руководил которой ученый с мировым именем.

Еремей решил не торопить события, а регулярно накапливать и систематизировать материал по интересующей его проблеме. Он стал собирать всю информацию, которая касалась воды, начиная от результатов серьезных научных исследований и заканчивая сказками и легендами о воде. Желание раскрыть многочисленные секреты воды стало его идеей фикс. В это время он увлекся биохимией и понял, что вода, подобно чайным листьям, мгновенно впитывающим окружающие запахи, вбирает в себя важнейшую информацию, воспринимая все, что происходит в окружающем пространстве,

и в зависимости от этого меняет собственную структуру и свойства, но при этом ее химический состав остается прежним. На воду активно воздействуют различные излучения, электрические, магнитные, гравитационные поля и их всевозможные сочетания. Но самое главное, вода воспринимает мысли людей и на них реагирует. Это в свое время доказал японский ученый Эмото Масару.

После изучения многих научных трудов и трехлетних опытов Твердоумов пришел к ошеломительному выводу: вода обладает памятью и хранит всю историю Земли (возможно, и Вселенной). Вода — это не только основа нашей жизни, но и главная информационная кладовая. Связь разумных существ с так называемым энергоинформационным полем происходит через информацию (сознание) воды. Поэтому, чтобы узнать секреты природы, нужно воду «разговорить». Проблема заключалась лишь в том, как эту информацию можно извлечь.

Еремей поделился своими размышлениями с коллегой, который относился к нему с симпатией и всегда помогал добрым советом. Однако вместо ожидаемой поддержки Твердоумов услышал в свой адрес неожиданно жесткую критику.

— Допустим, ты прав, ничего фантастического в твоей гипотезе нет, но если можно было бы так просто получить важнейшую информацию, то не нужны ни дорогостоящие проекты типа Большого адронного коллайдера, ни всякие спецслужбы с прослушками. Ученые нашего института и те, кто вкладывает в нас деньги, окажутся не у дел. Нас в лучшем случае засмеют, сделают изгоями. Вот взять, например, углеводороды. Ты думаешь, что их нельзя заменить другими источниками энергии? Как бы не так! Есть несколько серьезных альтернативных проектов, но... кто будет в них вкладывать деньги, когда все уже распределено? Ерема, спустись на землю! Все места уже заняты согласно купленным билетам. Вот ты предлагаешь расширить сеть институтов, изучающих воду и ее свойства. Но такие институты в основном разрабатывают новые технологии очистки питьевой и сточной воды. Рынок питьевой воды сейчас весьма востребован. Чистая вода — хороший товар, который с каждым годом растет в цене, и за рамки этого выгодного проекта никто пойти не захочет. Конечно, если тебя устроит, можешь пойти туда работать и улучшать производство легкой воды, способствующей повышению энергетических ресурсов человеческого организма, но тебя ведь интересуют глобальные проблемы человечества, а тут приятель, на меня не рассчитывай, тут я пас! Да и тебе советую не заморачиваться мистикой, будет себе дороже.

Тогда Твердоумов решил изложить свою идею в популярной газете, где его земляк Николай Ефремов работал журналистом. Тот не подвел и без купюр добросовестно изложил теорию Твердоумова, озаглавив статью броским заголовком: «Открытие, которое изменит мир». Однако по указанию редактора в конце статьи появился комментарий научного специалиста — того самого товарища, которому Еремей незадолго до этого рассказал о своем открытии. Твердоумов понял: в лаборатории ему работать больше не дадут, и написал заявление об уходе по собственному желанию.

Вспомнив наказ отца не пасовать перед трудностями, Еремей решил продолжить испытания. Он устроил лабораторию в собственном гараже, располагавшемся рядом с его домом. Прошло время и... Твердоумов своего добился! Проблема оказалась решаема, и довольно просто.

Так как информация воды представляет собой излучения и поля, то необходимо было создать особый прибор — цифровой водовизор, напоминающий чем-то телевизор-калейдоскоп, в котором информация, полученная водой, отражалась бы на мониторе в виде изображений структуры кристаллов. Конечно, придерживаясь традиции ученых, этот прибор нужно было назвать аквавизором, используя латинское название воды, понятное во всем мире и не требующее перевода, но Еремей был патриотом: ему хотелось, чтобы слово «вода» произносилось по-русски. Начались испытания.

Зная, что вода реагирует не только на слова, но и на мысли, Еремей в первую очередь решил узнать, что думают о нем соседи. Он принес прибор домой, установил его на кухне и подключил к трубам, по которым текла холодная вода. Вначале Твердоумов получал довольно расплывчатую информацию, но по мере усовершенствования прибора информация становилась все отчетливее и понятнее. Он составил специальный идеографический словарь из узоров-кристаллов, чтобы понимать их смысл и выражать словами полученное значение.

Еремей даже научился разговаривать с водой, то есть получать ответы на заданные им вопросы.

Один из французских писателей как-то заметил, что для сельского жителя окно заменяет театр. Для Еремея Твердоумова водовизор стал окном в тайный мир живущих рядом с ним людей. Оказалось, что соседи время от времени мыли ему косточки, считая его странным типом и неисправимым бездельником.

— Такой молодой, здоровый, а на работу не ходит. Сидит

целыми днями в гараже, и что он там делает — непонятно. Может, он бандит? — приблизительно так говорили о Еремее соседи.

Оказалось, что жильцы дома за глаза обсуждали не только его, но и друг друга. Живо интересовались, кто, куда и с кем ходит, чем занимается и как живет. Жены жаловались подругам на своих мужей, подростки критиковали друзей и родителей. Большинство людей неодобрительно отзывались о своих начальниках на работе и городских властях. Причем многие «факты» придумывались на ходу. Расшифровав «подслушанные» разговоры соседей, Еремей перестал со многими здороваться, проходил мимо опустив голову и делал вид, что никого не замечает. Он уже был не рад, что невольно оказался свидетелем всех этих бесконечных пересудов и скандалов. Ему претило, что он вынужден был копаться в чужом дурно пахнущем белье. Однако приходилось терпеть: нужно было отстраивать работу водовизора, увеличивать его мощность. Теперь аппарат считывал информацию не только у соседей по подъезду, но и со всей водной системы дома.

Ободренный результатом, Еремей решил усилить «читаемость» воды. Через определенное время он узнал, что происходит в районе, потом в городе — и сильно испугался. Он проник в тайны, о которых и не подозревал. Твердоумов познакомился с рецептами политической кухни, ему стало известно, кто ворует государственные средства, как заметаются следы уголовных и экономических преступлений. Он стал свидетелем супружеских измен и всякого непотребства. Еремей понимал, что из ученого превращается в сторожа чужих секретов, от которых его тошнит. Ученый осознал, что вода загрязняется духовно — и за это мстит человеку, забирая его энергию. Тут Твердоумов понял: если эксперимент не прекратить, он, Еремей, окончательно разочаруется в людях и бросит заниматься наукой.

Сначала результаты его радовали. Было страшно интересно узнавать, чем живут люди, но со временем появилось понимание, какую опасную игру он затеял. Еремей пытался прекратить наблюдения, старался не включать водовизор. Даже уезжал за город к товарищу, с которым учился в университете. Однако через несколько дней Еремею казалось, что тот считает его полным неудачником и хочет побыстрее выпроводить из дома, хотя товарищ относился к Твердоумову весьма доброжелательно. Ученый стал всех подозревать в лицемерии. Глядя на людей, представлял, какие они на самом деле, и его непреодолимо тянуло к своему чудовищному аппарату. Он, как наркоман, не мог удержаться, чтобы не получить очередную дозу своего информационного наркотика. Еремею стало жизненно необходимо знать, что думают другие люди.

С каждым днем ученый убеждался в том, что вода несет в себе не только положительную информацию, но и отрицательную. Еремей думал, что его прибор поможет людям: они узнают много полезного, необходимого для развития науки, которая улучшит жизнь. Но по мере поступления информации Еремей все чаще и чаще задавался вопросом, как будут использоваться полученные данные, кто будет их озвучивать и когда. Оказалось, что его водовизор — обоюдоострый меч, которым можно не только защищаться, но и убивать. В конце концов, не так страшно, что думают о нем соседи и бывшие сослуживцы. Но вдруг негативная или конфиденциальная информация попадет к каким-нибудь жуликам или террористам? Что тогда? Эти вопросы мучили Твердоумова, доводя до отчаяния.

«Чтобы никто другой не заставил воду разговаривать, мне нужно уничтожить водовизор да и самому куда-нибудь исчезнуть. Может, изменить свой пол, чтобы вода меня не узнала?» — неожиданно для себя подумал Еремей.

Эта явно нестандартная мысль его даже немного успокоила. Однако он заметил, что вода, находящаяся в его организме, обменивается информацией с остальной водой вне его самого. Значит, смена пола не поможет, его все равно вычислят.

— Единственный выход — высохнуть на 100 %! — в отчаянии воскликнул Твердоумов.

Немного успокоившись, он принялся рассуждать.

— А что если создать прибор или закрытую капсулу для защиты от информации? Так, что мы знаем? Вода на время освобождается от информации, переходя в другие агрегатные состояния, при кипячении и замораживании и набирает ее вновь, возвращаясь в жидкое состояние. Но для живых организмов это не подходит. Правда, религиозные отшельники могут «фильтровать» воду от негативной информации, поступающей к ним с пищей, — они голодают в пустыне, где минимум влаги, где нет других людей и животных.

Твердоумова охватил азарт. Он понял, что мыслит в правильном направлении. У Еремея от волнения пересохло в горле. Он налил стакан чистой воды, которую всегда держал в холодильнике, и с жадностью выпил. Твердоумову показалось, что вода, его любимая вода, которой он посвятил столько времени и сил, дает подсказки, потому что сама обеспокоена сложившейся ситуа-

цией. Почувствовав уверенность, ученый продолжил свой монолог.

— Человечество давно интуитивно догадалось: чтобы снять негативную информацию с воды, ее надо вскипятить или заморозить. Поэтому пищу, в зависимости от климатического пояса, стали сушить, варить или замораживать.

Еремей размышлял вслух, убеждая себя в логичности собственных рассуждений.

— И воду кипятят вовсе не для того, чтобы убить микробов (те живут даже в вулканах), а для того, чтобы убрать негативную информацию. Как известно, ключевая и родниковая вода считается чистой и полезной — поэтому ее и не кипятят. Ключи и родники бьют из-под земли, а под землю вода попадает или растаявшая (ранее замороженная), или дождевая (ранее испарившаяся). Недаром талая вода обладает целебными свойствами. Замерзая при низкой температуре, она приобретает особую структуру, а потом, когда тает, воссоздается такой же, какой и была прежде, потому что обладает информационной памятью.

Еремей замолчал. В его голове стали возникать всевозможные версии, каким способом можно ограничить информационность воды, но он понял, что создать защитный экран будет гораздо сложнее, чем «разговорить» воду.

«Здесь торопиться не надо, успокаивая себя, — подумал Твердоумов. — Я уже раз поторопился. Если мы не сможем все время кипятить и замораживать воду, тогда можно попробовать ее как-то "замутить", чтобы хотя бы частично замаскировать информацию, сделать ее некорректной. Вспомним Дерягина. Он опубликовал опровержение своих прежних результатов по поводу "аномальной воды" и показал, что ее необычные свойства возникают за счет примесей силикатов. Видимо, нужно пойти по этому пути… А может быть, и нет. Даже после химической очистки воды от содержащихся вредных примесей, включающей двойную дистилляцию, в ней сохраняется информация об этих веществах в виде остаточных электромагнитных колебаний».

В этот момент ученый почему-то вспомнил своего коллегу, подставившего его в самом начале пути.

— Он мне навредил, он же мне и поможет! — засмеялся Твердоумов. — Я воспользуюсь методом академика Дерягина, публично отказавшегося от собственных утверждений. Напишу бывшему сослуживцу покаянное письмо, заявлю, что шел по неправильному пути, и сообщу, что «разговорить» воду в принципе невозможно. Зная его, уверен, что тот обязательно опубликует мое письмо в прессе, показав тем самым свою прозорливость и «научную компетентность». Мое публичное покаяние у многих отобьет желание заниматься «бесперспективной» идеей, а я тем временем буду создавать защитный экран. Необходимо каким-то образом закрыть этот ящик Пандоры. Тогда я помогу не только воде, но и всем нам! — решительно воскликнул Еремей и принялся писать покаянное письмо.

г. Липецк — г. Москва

Инна АЛЕКСАНДРОВА

Инна Александрова — автор двенадцати книжек, а также публикаций в журналах «Огонек», «Знамя», «Континент», «Диалог», нью-йоркских «Слово/Word» и «Острова». Некоторые тексты переведены на немецкий и татарский языки. Филолог (окончила Казанский университет). Преподавала, около тридцати лет работала редактором.

Мама

Тысяча девятьсот восьмой год. Октябрь. Писк новорожденного младенца. Родилась Женечка Белькинд — пятая дочка Мэры-Иты и Якова-Израиля Белькинд. Назвали русским именем — Евгенией. В честь погибшего друга Якова-Израиля. Младенец — с длинными волосами, очень красивый. Яков-Израиль не налюбуется и прячет прокламации в колыбельку ребенка. Пришедшие жандармы даже не подходят к колыбельке. Так Женечка становится «революционеркой» с рождения.

Яков-Израиль — профессиональный революционер. Эсер. Эсеры — партия социалистов-революционеров. До семнадцатого года — на нелегальном положении. Выражают интересы мелкой городской и сельской буржуазии. Но Яков-Израиль не буржуа. Он — сапожник и флейтист. Распространяет прокламации и литературу. Делает это честно и рьяно. В промозглую декабрьскую ночь сильно простуживается — скоротечная чахотка. Ему всего тридцать три.

Мэра-Ита остается с пятью девчонками, старшей из которых — семь, младшей — Женечке — два месяца. Как живут? Так и живут. Все — с иголки Мэры-Иты: первоклассная портниха. Шьет все — от белья до пальто. Обшивает всех станционных модниц.

Орша делится на станционную часть и собственно город. Они живут на станции. Железнодорожный узел очень значимый.

Мэра-Ита — не красавица: обыкновенная еврейская женщина, уже замученная нуждой и работой. А вот Яков-Израиль был красавцем: светло-русые локоны обрамляли лоб, огромные серые глаза глядели из-под черных пушистых ресниц. В семье потихоньку говорили, что мать, бабка Жени, нагуляла его с русским студентом. Так это или не так — кто теперь разберет…

Официальным отцом Якова-Израиля является Мойше-кантонист. Его так и зовут. Кантонисты — это те, кто оканчивал специальные школы, то есть учебные заведения низшего разряда для солдатских детей. Как попал Мойше в такую школу, никто не знает, но школа давала элементарные общеобразовательные знания. Причем на русском языке. Так что Мойше прекрасно говорил по-русски и научил Якова-Израиля.

Как всякий солдат, выпивал в праздники и выходные не больше соточки (сто граммов) и уже с нее — соточки — мог завалиться в канаву. Иногда с Женечкой на руках. Внучку любил без памяти. Мэра-Ита ругала его, конечно, называла пьяницей.

Женечка была копией отца, но темненькая. Старшие сестры — Циля, Рая, Рива, Йоха — были похожи на мать.

Женечка была прелестна. Темные кудри обрамляли матовой белизны личико. Пряменький тонкий нос, алые губки и большие серо-голубые глаза, опушенные мохнатыми ресницами. Лицо прекрасно, но девочка при ходьбе

переваливается как уточка. Местный врач сказал: врожденный вывих тазобедренного сустава. Поможет только операция. Надо ехать в Питер.

Петербург — когда Мэра-Ита решается на эту поездку — встречает хмурым ноябрьским дождем, а еще — погромом. Шел девятьсот тринадцатый год. Какой-то рабочий потянул Мэру-Иту за толстую черную шаль, что укрывала ее и ребенка, и сказал: «Бежим, бежим. Надо прятаться. Не то убьют. Идем ко мне. А там посмотрим». Так Мэра-Ита попала к Ивану Васильевичу Расторгуеву, жившему на Васильевском острове. Несколько дней, пока все не утихло, прожили они у Расторгуевых. Тогда русские евреев спасали.

Иван Васильевич устроил Мэру-Иту портнихой в семью генерала, который жил неподалеку в собственном доме. Мэра-Ита была счастлива: генеральша обещала позаботиться о девочке. Женечка уже очень чисто говорила по-русски.

Генеральша сдержала слово. Женю оперировал профессор Вреден — лейб-хирург Его Величества. Год пролежала девочка в гипсовой кроватке. Мэра-Ита уехала в Оршу: там оставались еще четыре дочери.

Каких только игрушек и сладостей не приносили генерал с генеральшей! Очень привязались к ребенку: были бездетны. Когда пришло время выписывать девочку, Мэра-Ита приехала в Питер. Чуть ли не на коленях умоляли господа отдать им ребенка. Говорили: «Мы уедем из России, Женя забудет все, что с ней было, дадим прекрасное образование...» Бабушка отвечала: «Нет. Женя разделит судьбу своих сестер. Что будет с ними, то и с ней». Гордой была Мэра-Ита. Недаром, когда работала — шила — тихонько пела:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Операция не помогла. Женя осталась хромой, хотя ходила тогда без палки. Палочку взяла только в сорок первом, перед самой войной, после очень сильного обострения.

Осенью семнадцатого года Евгения должна была пойти в первый класс гимназии: прошла десятипроцентную норму (эта норма была для еврейских детей). Уже сшили из лапсердака Мойше школьную коричневую форму, уже был накрахмален белый фартучек, но... революция. В станционную Оршу она явилась тут же.

Пришлось идти учиться в школу-девятилетку, которую организовали на базе гимназии. Женя горевала: хотелось стать гимназисткой...

Училась хорошо, была способной. Немножко с трудом давалась математика, но помогал Ося-дружок. Дружили с «горшкового» возраста. В четырнадцать лет вступила в комсомол. А как же? Во-первых, вступали все «передовые». Во-вторых, Троцкий и Ленин прямо указывали путь в светлое коммунистическое будущее. Не за это ли боролся ее отец?!

Приблизительно в то же время прорезался прекрасный голос. Пели с подружкой Хавой на всех вечерах — на два голоса. Пели революционные песни и романсы, что слышали из открытых окон оршанско-станционных жителей. Однажды темной июльской ночью их услыхал какой-то пожилой господин, одетый не по-здешнему. Сразу выделил Женю. Предложил помощь, если поедет в Питер учиться, но... Когда увидел, что девочка хромая, тут же осекся. Артистку бы из нее не сделал.

Голос у Жени был поставлен от природы. Сильный, красивый, и я, наглая, это с малолетства понимала, когда заставляла мать: «Пой!» Тихонько покачивая мою кроватку, она пела:

Моя снежинка, моя пушинка,
Моя царица — царица грез.
Моя снегурочка, моя кристальная,
К твоим ногам я б жизнь принес...

Этот романс Бориса Прозоровского люблю до сих пор. Вижу свою красавицу-маму, убаюкивающую ребенка.

Как-то спросила отца, почему он женился на калеке и еврейке. Отец очень обиделся и сказал, что прекрасней Жени он женщин не встречал.

Однако в Питер после окончания школы Евгения все-таки уехала: обещал помочь с работой и дальнейшей учебой соседский парень, который к этому времени уже околачивался в бывшей столице. Господи! Как же намыкалась девочка!.. Уже был декабрь. Трамвай увез ее совсем в другую сторону. С плачем шла она по темной, морозной питерской улице. Увидели две женщины — с какой-то фабрики. Привели к себе, обогрели, а главное — накормили. Несколько дней она ничего не ела. Сказали: «Женя, хорошего без специальности в Питере не найдешь. Только сволочь какая-нибудь искалечит — изнасилует. Вот деньги на билет. Уезжай к матери, в Оршу. Там будете думать...»

Весной Женя уехала из Орши в Нижний Новгород: в Нижнем жила сестра Йоха, уже вышедшая замуж. Муж ее, Семен, прекрасно относился к свояченице, а вот сама сестрица... Много натерпелась Женя, много слез пролила. Но весной двадцать седьмого сдала вступительные экзамены в Казанский университет, на медицинский факультет. Хотела быть врачом и только врачом.

В двадцать восьмом, маме было уже двадцать, встретились они с отцом. Он был на четыре года старше. Расписались. Дали им в Пассаже крохотный узенький

пенальчик, но… с окном. Отец жил до того у хозяев, на квартире. Мама была комсомолкой: пожалели. Жизнь молодая. Не было никаких предохранительных средств — забеременела. Голодали. Началась «куриная слепота». Профессор сказал отцу: «Немедленно аборт, иначе потеряете жену». А был мальчик… В ноябре тридцать первого родилась я. Носила меня мама тяжело, с токсикозом. Рожала в муках. Я родилась восьмимесячной.

Ни года, ни месяца не пропустила Женя в занятиях. Успевала все. Отец к этому времени уже окончил университет. Работал на пороховом заводе. Взяли в няньки девочку из деревни, которая «накладывала» в помойное ведро, и все это воняло, пока не приходили родители.

В тридцать втором мама окончила Казанский мединститут (медицинский факультет выделили из университета). Большая папка с дипломом, напечатанным «золотом» на русском и татарском языках, лежит у меня в портфеле для старых документов. В годы «космополитизма», уже в Кокчетаве, в горздраве инспектор спросил: «Это в какой же такой заграница кончали высшее учебное заведение?» Маму тогда не тронули.

Казанская школа медиков очень славилась — не хуже питерской и московской. Профессура была отменной. Выучку получила прекрасную, тем более что окончила и ординатуру при Шамовской клинике. Поэтому когда пришлось срочно уезжать из Казани, маме не составило труда устроиться на новом месте. Таким местом стал Бобруйский военный госпиталь.

В госпитале очень хорошо относились к Евгении Яковлевне Энгельгардт: мама взяла фамилию мужа. Несмотря на хромоту, назначили начальником командирского отделения — отделения, где лечился весь комсостав. Без конца, к каждому празднику, награждали всякими грамотами, подарками. А я в Бобруйске каталась как сыр в масле: рядом была Циленька, мамина старшая сестра. Она с семьей жила на Социалистической улице, в самом центре, глубоко во дворе, в домике у тети Хаси. Две самые светлые комнатки занимали Мадорские. Мы с Циленькой ходили на базар, и однажды какая-то тетка, желая перехватить у нас курчонка, заорала: «Везде эти жиды лезут!..» Я обрезала тетку: «Мы не жиды, мы — евреи!» Тетка отвалила.

Циленька прекрасно говорила по-русски, потому что окончила русскую школу, но с тетей Хасей они разговаривали на идиш. Тетя Хася, обращаясь ко мне, говорила: «Майне кецеле, Маша мидецепелех (Маша с косичками), шикса». Что такое «шикса», так и не выяснила до сих пор.

Приходили друзья Яши, старшего сына Цили. Возились со мной, катали на велосипеде. Они уже учились в десятом классе.

Все, весь мир перевернула война. Бобруйск был захвачен немцами уже двадцать шестого июня. Дядя Юда, муж Циленьки, еще до войны был мобилизован на строительство подземных аэродромов под Брестом и когда прибежал в город, чтобы узнать, что с семьей, Иваниха, соседка, жившая на задах в каком-то курятнике с пьяницей-сыном, привела в дом тети Хаси немцев-мотоциклистов. Она сказала: «Юде, юде…», и тут же, на крыльце, они расстреляли моего дядьку, которому было сорок пять лет.

Брат Яша в начале сорок шестого специально приезжал в Бобруйск, чтобы узнать, как погиб отец. Иваниха, завидев офицера в майорской форме (Яша был военным инженером), упала перед ним на колени. Яшка плюнул, выматерился и не стал связываться с этой падлой.

Мы уехали из Бобруйска перед самой войной. Папу еще зимой сорок первого, в январе, перевели в другой город на аналогичный гидролизный завод. Мама где-то в марте свалилась с жестоким обострением — нога. И комиссар госпиталя сам приехал к нам домой со словами: «Женя, завтра пришлю красноармейцев. Они запакуют все ваши вещи. Уезжайте! Уезжайте немедленно. Не сегодня-завтра — война». Люди, особенно военные, знали все…

В Саратове, куда перебрались в начале мая сорок первого, мама не успела устроиться на работу. Решила хоть немного отдохнуть. Жили в коммунальной комнате. Обещали квартиру. Я окончила второй класс с похвальной грамотой. Все было прекрасно, но нет… Беспокойство, какое-то беспокойство витало в воздухе. Утром бегала в соседний киоск за газетами и жадно накидывалась, пока не прочитывала от корки до корки.

И вот утро двадцать второго июня. Помню, как будто было вчера. Прибежала Олечка Иванова, дочка главного инженера завода. Сказала, чтобы быстрее все шли к ним: у них был приемник. Мы побежали. Голос Молотова был глухой, сдавленный. Сказал: война… Я почему-то в голос заревела. Мужчины начали собираться на завод, хотя был выходной день. Мама плакала оттого, что уже бомбили Бобруйск: там оставались Циленька с Саррой.

Маме принесли повестку в военкомат. Утром не отпустила мать, поплелась с ней. Вперлась даже в кабинет, куда вошла мама. Военком резко приказал: «Бросьте палку! (Мама после последнего обострения ходить без палки уже не могла.) Оставим вас при городском госпитале, — ска-

зал он и ласково посмотрел на меня. — Вот и помощница подросла». Велел ждать повестку.

Черные-пречерные добрались в Саратов Циля с Саррой только в середине августа. Двести километров, до Рогачева, шли пешком, а там — эшелонами. Я повела Сарру в свою школу записываться в десятый класс: ей было шестнадцать. Циленька с мамой хлопотали по хозяйству: начались страшные очереди. Продуктов уже почти не было.

Седьмого сентября пришла из школы и застала отца дома. Он лежал, свернувшись калачиком, на сундуке. Испугавшись, спросила, что случилось. Папа заплакал. Никогда не видела отца плачущим. Сказал, что у него отобрали заводской пропуск и высылают неизвестно куда. Мы — я, мама, Циля, Сарра — можем не ехать, но из комнаты нас выгонят: комната заводская. Я тоже заревела и сказала отцу, что поеду вместе с ним. Папа обнял и поцеловал.

Высылали отца за то, что в паспорте у него в графе «национальность» стояло «немец», хотя немцем не был. Был поляком. Это была ошибка, но… роковая. Отец винил себя за то, что не добился исправления. Вечером, на семейном совете, решили, что поедем все вместе: в войну разлучаться не следует.

Привезли в поселок Айдабул, что в Северном Казахстане, за девяносто километров от станции. Дали маленькую комнатку над почтой. Велели отцу назавтра прийти на завод. Сарра пошла вместе с ним: продолжать учебу не хотела. Сказала, что сама будет зарабатывать на жизнь.

Мама пошла к местной фельдшерице-акушерке Матрене Ивановне, и та сказала: надо ехать в Зеренду (районный центр) на поклон к райздравше Маруське. Так и сказала. Не удостоила имени и отчества.

Папу и Сарру назначили в транспорт: возить на быках дрова из леса. Быки никак не шли, пока отец не начал их материть. Тут они чуть ли не побежали. Две недели проработали они с Саррой там. Потом на фронт забрали завхимлабораторией, и отца назначили на его место. Сарру посадили счетоводом — грамотная.

Мама уже вовсю разъезжала по вызовам, и у нас появилась хоть какая-то еда: денег никаких не платили, а больные, местные, зная это, давали кто что может. Местные жили хорошо.

При производстве спирта были отходы — барда. Спирт делали из зерна и картофеля. Бардой кормили скот. Зерно, муку продавали местные колхозы. Но денег не было. Мы же перебивались, как могли. Никто о нас не думал. Могли и подохнуть. Но это уже никого не касалось…

Я пошла в третий класс местной школы и тут же получила «посредственно»: учительница исправила правильное на неправильное. Словарей у меня не было. Пришлось маме идти объясняться.

Сызмальства мать старалась приучить меня не бояться крови, открытых ран и всяких медицинских манипуляций. Наверно, втайне, про себя, думала, что когда-нибудь стану врачом. Летом, в каникулы, всегда ее сопровождала: было и необходимо, и интересно, и можно было подкормиться — яичницей, молоком, а иногда даже сливками.

Ребятишки летом травились беленой: у нее сладкий корень. Сахара не было. И фруктов тоже. Они, детишки, становились страшными — как пауки. Абсолютно безумными. Если вовремя не промыть желудок — летальный исход. И мы мыли… Я, конечно, ассистировала. Было мне тогда одиннадцать лет.

Однажды с матерью здорово перетрухнули. Выехали из Викторовки поздно. Ночь — безлунная и беззвездная. Лошадь хорошо знала дорогу, мы ею даже не управляли. Но… вдруг она вздрогнула, захрапела и понесла куда-то в сторону: две зеленые светящиеся точки следовали за нами. Мама сообразила поджечь сено, что было в кошевке. Волк отстал. Мы бросили поводья и отдались на волю Провидения. К рассвету оказались черт-те где от нужного пункта.

Мама страшно уставала: на округу в двести километров была единственным врачом. Иногда, если имелась хоть какая-то передышка, приезжала домой поесть и часочек отдохнуть. Но не давали. Особенно настырным был старик-казах — оспопрививатель. Он являлся чуть ли не каждый день. И если Циленька говорила, что мамы нет дома, тут же, хитро прищурившись, заявлял: «Зачем врешь, зачем обманываешь? Нехорошо. Во-о-н третий нога стоит…» — и показывал на палку. Приходилось маму поднимать.

Весть о том, что в Айдабуле появился настоящий доктор, распространилась быстро. Дошла до Кокчетава, и наш «душеприказчик» — энкавэдэшник — велел собираться. В начале сорок третьего переехали в Кокчетав. Цили и Сарры с нами уже не было: Яков, окончив академию, выхлопотал их в Казань, куда был распределен военпредом на приемку самолетов. Он женился и ждал ребенка.

В Кокчетаве платили зарплату и был рынок. Сняли комнатку у Никитиных. Зажили по-людски. Маму, сосланную, даже назначили завполиклиникой. Отец устроился завхимлабораторией на северо-казахстанскую гидрогеологическую станцию. Начальник его — Рейсгоф — был таким же сосланным, как папа.

Маме дали лошадь с кошевкой, как и в Айдабуле. Конюх только запрягал и утром подавал.

Мать очень любила и жалела Черныша, который целый день возил ее по городу, а чтобы как следует подружиться, выносила ему торбочку с кусками чуть присоленного хлеба. Черныш тут же их схрумкивал и благодарно лизал руку. Потом они работали. Благодарность животного была искренней...

В Кокчетаве маму заставили работать в санчасти МВД-МГБ. Врач хороший им тоже был нужен. Более того, она, сосланная, возглавляла комиссию, решавшую, кому из них служить дальше, а кого выгнать. Господи! Как же они пресмыкались и подхалимничали... Противно было смотреть. Потихоньку притаскивали шоколадки и флакончики духов. Мама на таких кричала и выгоняла. Все они, за редким исключением, были ничтожествами.

Мама была смелым человеком. Не боялась мордухаев. Говорила все, что считала нужным. Отец предупреждал: «Женя, прикуси язык! Прикуси язык! Посадят». На что мать отвечала: «Плевать хочу на эти рожи: они от меня зависят. Я их лечу...» В Айдабуле выгнала из амбулатории энкавэдэшника, который ночами в ней устраивал явочную квартиру. Орала так, что он струсил. Они ведь все были трусами...

Не испугалась (уже в Кокчетаве) и зампредисполкома, который где-то в командировке нахватался от баб-казашек мандавошек. Когда мать сказала, что нужно пробрить это место и тщательно вымыть, он предложил это сделать ей. Вне себя от обиды и гнева, мама обложила его трехэтажным матом, на какой только была способна. Ничего. Съел...

Благодаря работе мамы в санчасти МВД-МГБ меня выпустили на учебу в Казань. Отец очень просил, чтобы подала документы в мединститут, но я упрямо заявляла: «Ни за что! Только литература!..» Но уже на втором курсе университета поняла, что сделала глупость. Было поздно: из-за нашего положения изменить ничего было нельзя.

Мать молчала. Потом, уже после смерти отца, спросила, почему так себя вела. Мама ответила: «Слишком тяжелая ноша, если быть настоящим лекарем. Врач должен умирать вместе со своим больным. Не хотела тебе такой доли».

Смерть отца перенесли тяжело. Он умер в одночасье на пятьдесят втором году жизни. Хоронил его весь город: маму знали все. Помогли — кто чем мог. Решили тут же уехать из Кокчетава. Обе были уже свободны.

Калининград встретил сумрачными дождями. Мне пришлось побегать поискать работу, а мама уже вовсю трудилась рентгенологом в Московском районе города. Толпы больных. Старый рентгеновский аппарат, тяжелейшие просвинцованные перчатки, облучение. Потом переход в онкологический диспансер на «пушку». Все это не прибавляло здоровья. Попала на операцию в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Пролежала полгода.

Мой муж поступил в аспирантуру в Москве (он — москвич), и мы обменяли Калининград на Химки. В Москве мама уже не работала: начало сдавать сердце. Сидела, ждала, когда придем мы с работы. Очень тосковала без дела.

Уже здесь, в Москве, часто говорили с ней об антисемитизме. Мама видела и чувствовала, как мне обидно: работаю не меньше, а больше других (опыт), получаю вдвое меньше. Не хотели аттестовывать, присваивать звание. Контора, где работала, была военной.

«Понимаешь, — говорила мать, — евреям очень завидуют: умные, способные, не лентяи. Быстро, хорошо и точно соображают. Поэтому, несмотря на еврейство, все-таки получают в жизни какие-то места. А разве пьяница и лентяй будет винить себя? Это ему несподручно. Ему лучше найти козла отпущения. Таким козлом всегда становятся жиды. Что делать? Что делать? И в этом дерьме надо жить...»

Никогда мама не заговаривала со мной о Боге, хотя, как и все, в речи поминала Господа. Не знаю, была ли атеисткой — все-таки врач, — но под конец жизни часто произносила: «Вот сижу на лавке с простыми русскими женщинами, и они рассказывают про престольные праздники, про церковь. Завидую».

Я предлагала взять такси и отвезти в синагогу. Она отказывалась. Говорила, что там полно филеров, и это противно. Так и похоронила ее: никто не отпел — ни поп, ни раввин.

Сталина ненавидела. «Подумай, — говорила она, — такая тварь сидела у нас за бога тридцать лет. Если сосчитать убитых только приблизительно, со счета собьешься, а если прибавить еще тех, кто духом был искалечен? Ну и подох он от общей ненависти. И ненависть эта шла как излучение...»

Ах, мама-мамочка! Ночи не бывает, чтобы не привиделась ты мне. Страдалица, выдержавшая все муки — физические и духовные. Царствие тебе Небесное, моя родная, моя бесценная... Прости...

г. Москва

Евгений РЫК

Продолжение. Начало в № 12 за 2015 год

Шпион и гражданин

Роман-расследование

ГЛАВА IV
ЖЕСТОКАЯ КОМЕДИЯ

21 мая 1964 года

Полковник Солнцев смотрел на бывшего изменника родины Игоря Серебрякова без неприязни и без зоопаркового любопытства. Серебряков, зэк опытный, рассматривал носки своих ботинок и в глаза своему ровеснику не смотрел.

— Вы курите? — спросил молодой полковник в штатском.

— В деле сказано «нет», — без вызова, но с некоторой долей иронии ответил агент Барон.

— В моем деле об этом ни слова, а я курю, — пожал плечами Иван Валентинович.

— А вы разве его видели? — впервые взглянул в лицо бывший немецкий подручный.

— Нет. Я так думаю.

— Ах, думаете... Как мне вас называть?

— Хотите Иван Валентинович, хотите Иван, — либерально позволил высокопоставленный разведчик.

— Хорошее имя. Знаете пословицу? «С именем — Иван, без имени — болван».

— Нет, нет. Я с именем, — улыбнулся полковник.

— Вторая пословица: «Корова без клички — мясо»...

Молодые в общем-то люди встретились, как и договорились заранее по телефону, у табачного магазина на Сретенке. Солнцев узнал агента по фотографии в формуляре и подошел к нему сам. Они медленно прогулялись до ближайшего переулка — Печатникова, спустились чуть вниз и проходным двором перешли в параллельный, Колокольников, продолжая свой маршрут по крутому московскому холму вниз. Полковник слегка косолапил — привычка, оставшаяся со службы на пограничных катерах. Серебряков был сухопутным человеком и на ходу не раскачивался.

Дошли до Цветного и пошли по самому бульвару среди плаксивых красот этого столичного мини-парка.

— Расскажите, Игорь, как проходил рабочий день при немцах, — попросил чекист.

— Как? А вас что интересует?

— Все. Вы ведь не только у бургомистра в канцелярии работали, но и в полиции, и в штабе.

— А-а, теперь мне предельно ясно. Итак, гражданские служащие приходили на работу к шести тридцати утра. Немцы к семи. Ночной дежурный сдавал дежурство дневному. Проверялись опечатанные кабинеты, сейфы, шкафы. Наличие личного состава. Больные там, невышедшие на работу, отправленные на мероприятия, убывшие в командировки и так далее. Если были арестованные — сдавали их при перекличке. Затем гражданский докладывал дежурному немцу. Начинались занятия.

— Допросы? — уточнил Солнцев.

— У следователей. Остальные работали с бумагами, всякие там формуляры, отчетность, учеты, выдача справок и тому подобное. С двенадцати до двенадцати двадцати пяти для местных обед. У немцев до часу дня. Потом опять занятия.

— Уточните, что это такое: списки советского актива? Коммунисты, комсомольцы?

— Нет, это в СД. Конечно, если в полицию приходили доносы... а их немало было... Но этим занимались либо оперативные службы, либо немцы. Полиция регистрировала земельные участки, жилой фонд, наличие населения на участках, домашних животных...

— Это для чего?

— Налоги. Ведь все лица, проживающие на оккупированной территории, в возрасте от 16 до 60 лет платили денежный сбор. Потом 10 процентов от заработка, налог подоходный. Поземельный — 200–550 рублей в год с каждого двора; налог с торгового оборота; налог со здания — 1 процент их стоимости; налог на кошек и собак — от 25 до 40 рублей за каждую... Кроме того, трудно было с пересчетом дойчемарки на марку оккупационную. Расплачиваться первой разрешалось, а скупать имперские деньги — нет. Ведь они были, знаете ли, в отношении 1:10... Помните? Учет и контроль.

Полковнику не понравилась ссылка на ленинский постулат:

— Ну вы не очень-то... сравнивайте.

— По сути так, — равнодушно пожал плечами симпатичный европеец Серебряков. — Половину времени все только и составляли такие графики по взиманиям. Конечно, и списки на депортацию, набор рабочей силы на добровольных началах... Вы же знаете, как это было при немцах. Хотя бы по документам, — любезно уточнил б/предатель и изменник. — В РСХА, кроме оперативных управлений, было много и финансовых. В частности, если гестапо это IV Главное управление, то II ГУ — техническое и экономическое. С 33-го по июль 40-го им руководил доктор Бест, а позже — государственные советники Нокеман, Зигерт и Шпациль. Между прочим, вот все... в кино, я имею в виду... говорят «гестапо, гестапо», а ведь внутри самой службы был отдельчик, которого эти сами гестаповцы как огня боялись.

— Партийный суд, — понятливо сообразил полковник.

— Отнюдь, — спокойно парировал собеседник, — отдел II-В Второго главка. Он курировал все экономические аспекты гехайме-штатсполицай. А и в самом ведомстве папаши Мюллера был отдел IV-Е-2 — это уже внутренняя служба по борьбе с экономическим саботажем вашего гестапо...

— Вашего гестапо, — огрызнулся Солнцев.

— Нашего гестапо, — легко согласился Серебряков. — Все реквизиции, арестованные счета, экономика концлагерей... Там... Даже здание РСХА на Принц-Альбрехштрассе — и то размещалось в бывшей промышленной школе. Да вы, Иван Валентинович, только посчитайте, сколько в Германии было учитывающих структур: министерство планирования, министерство труда, министерство хозяйствования, минфин, управление личным имуществом, налоговое ведомство, таможня, криминальная полиция. В каждом ведомстве обязательно были экономические управления или отделы. В вермахте были свои Erkundungstrupp (команды экономической разведки Вермахта Третьего рейха)...

Полковник даже немного флегматично слушал агента, а тот спокойно продолжал-баюкал своего нового куратора подробностями. При этом каждый из них изучал друг друга. Серебряков, как бы между прочим, пробрасывал немецкие слова, а Солнцев его не переспрашивал. Значит, знает язык, соображал Барон. А Солнцев себя охолаживал: «Не надо педалировать на гестапо, не надо злить агента, да еще перед такой операцией. Спокойней, Ваня. Пусть этот фашистский выкормыш увидит, что и его мы держим за человека». Выкормыш уловил сигнал фальшивого снотворного, но отчего бы и не принять условия этого молодца? Интересно, он по званию старлей или уже капитан?

— ...Что еще? Немцы завершали работу в 16:30, гражданские — в 18:00. Дневной дежурный сдавал смену ночному...

— А перерывы на чай, кофе? Перекуры?

— Ну, меня-то не приглашали. Можно было отпроситься на пять минут у начальника стола. Курить на рабочих местах могли только немцы. Русские должны быть опрятно одеты, мужчины в рубашки с галстуками, в костюмах. Женщины в белые кофточки. Обувь, пальто обязаны быть чистыми. Те, кто имел право на ношение оружия, должны были содержать его в холе... Обязательно вставать при появлении любого чина армии и полиции. На улице следовало останавливаться и пропускать их; те, кто ходил в форме или при оружии, отдавали честь.

— Руку выбрасывали? — поддакнул полковник и попал впросак.

— Нет, нет. Это жест для членов партии. Наших ведь в НСДАП не принимали, такое нельзя было заслужить. Что еще? Обращаться к немцам и стар-

шим только на вы. С прибавлением чина, звания и ученой степени. Представляете, Иван Валентинович?! «Герр заместитель начальника отдела, гауптшурмбанфюрер, доктор Цайтунг, разрешите обратиться к герру помощнику начальника административного стола, шарфюреру, инженеру Майтунгу...» Ах да. Были еще два странные на первый взгляд войска — «Служба Отто» и «Организация Тодта».

— Да, знаю, — кивнул полковник. — Первая — это закупки продовольствия и сырья на оккупированных и союзнических территориях. Вторая — военное строительство и восстановление гражданских объектов.

— Точно. Обе организации полувоенные, там пристраивались пенсионеры, инвалиды, белобилетники, и, конечно, за взятки. Форму-то носили общеармейскую, а сами геройствовали в тылах... Как мне кажется, ваши э-э... коллеги в основном через эти окошки пробирались к гитлеровцам, нет?

Солнцев сделал вид, что не расслышал вопроса, хоть и знал, именно так и было. Они шагали Цветным бульваром по направлению к Садовому кольцу, перешли его и двинулись вверх к институту Склифосовского. Майское солнце уже сейчас прилично припекало, и полковнику становилось жарко в своем габардиновом новом пальто. Серебряков был в коротком белом импортном плаще — наши никогда бы не выдумали пришить на воротник узкую кожаную полоску, чтобы не салилось от волос... Справа вновь показалась Сретенка, на которой они час назад встретились. С угла располагался комиссионный магазин, который москвичи шепотом называли «Слезтовары», здесь продавался конфискат арестованных граждан. Настоящие люди сюда не ходили — своеобразная антисталинская демонстрация. «Слезтовары» посещали либо непросвещенные приезжие, либо уж совсем бессовестные люди. Игорь хотел было сказать об этом новому куратору, но удержался...

— Понятно... Что-нибудь еще не припомните?

— Поинтересней? — ехидно подначил экс-полицай.

— Характерного, — осторожно направил агента чекист, помня, что с ним придется работать большое и серьезное дело, а посему пытаясь расположить Серебрякова к себе.

— Отчего же не вспомнить, раз человек хороший, — лукаво покосился Игорь на Ивана. — Я любил в пустые минуты немецкие инструкции почитывать... Например, в гестапо, то есть IV Главном управлении РСХА, был отдел IV-А-6-а! Какая деликатность!

— Что такое? — искренне заинтересовался необычной энциклопедией Солнцев.

— Эти занимались исключительно арестами старых солдат и членов партии. Всяким-яким это дело не доверяли! Руководитель — гауптштурмфюрер Геттл. Личную картотеку агентов Мюллера-гестапо курировал его адъютант гауптштурмфюрер Леонард Гальмазенгер...

— Откуда вам, мальчишке, могли быть известны такие в общем-то секретные сведения? — спонтанно и быстро задал вопрос разведчик.

— Я умел читать. А во-вторых, до 44-го в Германии издавался сборничек с перечислением всех офицеров СС. Кто умеет сопоставлять...

Полковник согласно кивнул, поддел носком ботинка невидимые миру соринки с асфальта. Серебряков свои подметки берег.

— Страшно было? — полюбопытствовал чекист.

Игорь невразумительно пожал плечами:

— Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор...

ГЛАВА V
ФУФЛОВО-ВОЗДУШНЫЕ ВОЙСКА

Серебряков хорошо помнил все восемь лет своего заключения. Он видел эти годы как некий газетный лист. Черно-белый, с яркими фотографиями и четким текстом... Особенно начало. Сперва его вывезли из Дании в Германию. Там уже передали военной контрразведке советских оккупационных войск. Но в Германии его еще не били и даже долго не допрашивали. Как только был сформирован очередной эшелон с заключенными и интернированными в СССР, то отправили прямиком в Москву.

Немцев в эшелоне уже было немного, а советских военнослужащих, осужденных по новому закону 47-го года о мародерстве, — как раз много. Но даже эти бандиты относились к нему свысока. Они-то прошли войну и попались по глупости: в сорок пятом конфисковывать вещи и продукты у немцев можно было почти законно, но спустя два года Сталин решил армию приструнить. Ему стали жаловаться англичане и американцы на поведение русских в Германии, одновременно Верховный решил получить от Америки помощь по плану Маршалла, как ее получили многие страны Европы. Чтобы смягчить в глазах иностранцев свой режим, Хозяин упразднил в стране смертную казнь и аборты (рассчитывая на благословение католической церкви; да и солдаты в будущих войнах понадобятся). Чтобы из страны не бежали, он запретил заодно и браки с иностранцами, а

имеющиеся приказал расторгнуть или «иностранную» часть смешанной семьи ввести в советское гражданство. 18 марта «Ведомости Верховного Совета СССР» за № 10 (464) опубликовали «Указ о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами»...

Помощи с Запада Сталин не получил, а, наоборот, получил речь Черчилля в Фултоне и холодную войну. Вскоре смертную казнь восстановили, а аборты и совместные браки — нет. Богат был сорок седьмой год на законы...

В Польше эшелон переформировали. Серебрякова от мародеров перевели в вагон с поляками, что воевали не в советской Армии Людовой, а в британской Армии Крайовой (АК, аковцами). Из этого пацан сделал вывод, что судить его будут как иностранного шпиона, ведь он не принимал никакой присяги, даже советского паспорта у него никогда не было. Для любого отечественного бандита, будь хоть он из легендарной «Черной кошки», смертная казнь не страшна. Отменили. Но иностранным диверсантам ее все же оставляли. Вот парень справедливо и решил, что...

На Лубянке к его двум следователям просто приходили на экскурсию во время допросов. Он слышал обрывки разговоров чекистов: «Говорят, сын Власова...» или: «Не сын, а пидор!..» и тому подобное. Никак не могли поверить, что мальчишка — офицер, полицай. Хотя он ничего не скрывал и активно сообщал следователям все подробности биографии и чинопроизводства. Это подтверждали и бумаги, которыми МГБ снабдили англичане.

Кстати, о гомосексуализме тоже расспрашивали. Но Игорь убедительно отослал их к статье 175 Уголовного кодекса еще Веймарской республики, который был в ходу и в гитлеровском Рейхе, и специальному приказу Гиммлера: мужеложство на территории Германии наказывалось концлагерем, а для членов партии и служащих СС, СД и гестапо — виселицей. Следователи все же навели справки, опросили сидевших у них немцев — подтвердилось.

Что удивительно, на допросах его не били ни разу! Да и за что? Парнем он был длинным, но худым, и хорошенький удар тренированного человека поставил бы точку в его жизни. Потом, он рассказывал обо всем, о чем просили. Рассказывал с удивительной юношеской наблюдательностью, успевай только записывать! Те, кому было положено читать протоколы допросов, видно, смекнули, что информации там достаточно для целых глав в секретные учебники для специальных чекистских школ.

— Как полагалось обращаться к Власову? Ваше превосходительство? — глядя куда-то за майское окно кабинета на Лубянке, спрашивал лысоватый подполковник.

— Нет, в уставе сказано «господин генерал» или «господин командующий».

— А к немцам?

— К военным — по званиям, к гражданским — по должности или по ученой степени. Ох, и много же было мороки с этими званиями! Столько учили! Почему у одних частей есть нагрудные нашивки за зимнюю кампанию, а у других нет... Какие бывают нашивки нарукавные... Что значит значок «За пять танковых атак»... Звания в гестапо... Звания в РОА. Нашивки у старых членов партии в виде нарукавного треугольника... Много!

— Выучил все-таки? — переспросил второй дознаватель.

— Конечно, без этого не сдашь экзамена.

— Ишь ты, усердный! — глядел на парня исподлобья майор госбезопасности.

В лубянской камере сначала их было четверо: Игорь, венгерский полковник-гусар, немецкий подполковник из шифровального отдела группы армий «Север» и гауптман из эсэсовской дивизии «Викинг», но высокой чести попасть прямо на Лубянку он удостоился потому, что еще до войны был в группе самого штандартенфюрера Раттенхубера, начальника Службы сопровождения Адольфа Гитлера. Потом охрана втиснула еще пятую кровать, и на ней разместился бывший министр словацкого правительства Тиссо. Венгр и словак свободно говорили по-немецки, но все же с акцентом, а посему Игорь в глазах немцев был более безукоризненный однокамерник — он-то общался на чистейшем хох-дойч. Потом он переводил все приказы охраны и рассказывал о нравах страны, давал консультации по поводу прав и обязанностей заключенных, вывешенных на стене камеры. Единогласно его выбрали старостой, так как только он мог доложить дежурным или прокурорам о порядке и просьбах (подполковник страдал желудком и часто просил вызвать врача). Лишь его знания, перенятые от мародеров, от бывших зэков ГУЛАГа в арестантском составе, оберегали их. Есть в тюремном быте невинные с точки зрения арестантов, но ужасные с позиции вохры проступки. Капитан-эсэсовец суровой ниткой как-то поделил дневную пайку хлеба на три части. Хорошо, что камерный Игорь вовремя предупредил «викинговца»: аккуратно разрезанный (неважно чем, обычно, как правило, именно ниткой) хлеб дает возможность охраннику написать рапорт начальнику смены, что «в камере

используются режущие предметы». Наказание — карцер, избиение, лишения сна, лишний шмон...

Все присутствующие благоговейно смотрели на мальчишку. Словацкий министр все норовил пожаловаться на то, что не может заснуть ночью, потому что в камере постоянно горит яркая лампочка. На это эсэсовец ответил, что все это штатская чушь: «Я на фронте спокойно спал, когда рядом догорала целая электростанция!»

Привыкшие к строгой иерархии иностранцы, естественно, освободили своего старосту от обязанности уборщика. Дальше спор разыгрался между двумя немцами и венгром. Венгр был старшим по званию, но его страна числилась только союзником Германии, и подполковник с капитаном доказывали гусару, что они оба в табели о рангах Рейха стоят выше полковника-сателлита. О штатском профессоре-словаке разговор даже не заводился: пусть помолчит, когда джигиты разговаривают!

После длинных и колких пререканий решили, что дежурство устанавливается следующим образом:

a) каждый сам заправляет свою койку;

b) тарелки и кружки после еды моет профессор; он же по возможности делает влажную уборку камеры;

c) при выводе на оправку венгр-гусар приносит из туалета мокрый носовой платок для этой самой уборки;

d) гауптштурмфюрер отвечает за тишину в камере;

e) подполковник — за общий порядок;

f) Игорь — командир.

Когда внутренний режим был выработан, чтобы не сойти с ума, стали вспоминать игры, которые бы не противоречили Уставу внутренней тюрьмы МГБ СССР...

ГЛАВА VI
АНТИКВАР — РАЗБОГАТЕВШИЙ СТАРЬЕВЩИК

24 мая 1964 года

Лейтенант КГБ Тамара Галеева долго листала служебные справочники и выписывала интересующие ее любопытные сведения. Потом с этим листочком она пришла к майору Лучикину, заместителю начальника ее отделения.

— Матвей Григорьевич, объясните мне, почему Барон получил такой маленький срок?

Майор снял очки и просмотрел списочек симпатичного лейтенанта. Его кабинетик был набит цветочными горшками, как оранжерея, — майор был страстным садоводом.

— Томочка, он же в 47-м был малолеткой... Не знаю, вообще-то. Что-то с Особым совещанием сделалось. Припадок добродушия. У него какой пункт по 58-й статье? Четвертый?

— И тринадцатый.

— Да? — Майор почесал карандашом лысину. — Вообще-то, восьмерик — это ему маловато... Да, маловато. Там, кажется, и 59-я была, так? Так... Значит, должен был получить десять как минимум.

— Он сразу дал согласие сотрудничать с нами, его рассказы подтвердились проверками.

Лучикин даже удивился:

— Ну и что, Томочка? Пусть бы поработал на органы в лагере подольше. Он молодой. К тому же власовский офицер. У него литерки не было?

— Чего не было?

— Буквы такие, литеры — по-бывшему, ну там ЧСВН, ЧСИР, КРТД и тому подобное? Вы в нашей школе разве не проходили? — удивился цветовод-контрразведчик. — Член семьи врага народа, изменника родины, контрреволюционная троцкистская деятельность... Эта-то буковка — «т» — страшней всего была. За нее почти всегда расстреливали... Литерки прибавлялись к статьям, и от этого ужесточалась система содержания на зонах, запрещалась реабилитация, пересмотр дела. Понятно? Еще следствие и этапное управление могли добавлять свои шифры: «склонен к побегу», «к изготовлению фальшивых документов», «к бунту», «использовать только на физических работах»...

Тамара кивнула.

— Матвей Григорьевич, понятно: нет, не было. А почему Барон не сидел постоянно в одном лагере? Смотрите, с 47-го по 48-й — внутренняя тюрьма МГБ...

— Следствие шло, — утвердительно кивнул майор.

— 48–53-й — Колыма, прииск «Ягодный»...

— Законно. Это Особлаг.

— В 53-м его переводят в 4-й корпус Владимирской тюрьмы.

— Это для работы с номерными заключенными. К тому же Сталин умер, режим потеплел, так что...

— С 54-го он переводится в Рязань...

Майор опять кивнул:

— Там лагерь был для высших офицеров Германии. Барон наш работал по ним, язык он знал хорошо. Тем более его фрицы могли проверить на легенду. Между прочим, по агентурным данным,

и проверили. И поверили. Барон хорошо работал. Ты знаешь, переговори с Люсей — она мастерица по оформлениям, работает тут с довоенных времен.

Люся, или Людмила Александровна Симонюк, действительно пришла в НКВД еще во времена Ежова. Но прошла все чистки, все проверки и все перемещения. Ни один начальник отдела, увидав оформленные ею дела, не позволял трогать их делопроизводителя. Симонюк была по званию старшиной специальной службы, но у нее был кабинет побольше, чем у начальника отделения. Правда, у начальника в сейфе было три-четыре дела, а в сейфах тети Люси — тысячи формуляров на подследственных, обвиняемых, находящихся в разработке контрразведкой, дела осужденных по инициативе их отдела.

Две дамы быстро сговорились о лекции: одна прочесть, другая прослушать.

— Томочка, вот смотрите на этот значок.

Галеева посмотрела шифр на картонной обложке папки дела-формуляра. В числителе было две цифры, в знаменателе одна.

— Это значит: «является лидером-организатором». Обратите внимание на страницу сто двадцать два. Барон в разгар скандала в бараке на прииске отбрил какого-то зэка-полицая. Вот, читайте.

Галеева раскрыла внутрилагерный донос на имя начальника оперчасти «Ягодного» старшего лейтенанта Гречко: «Заключенный Серебряков принял участие в толковище блатняков. Зэк Гурченко, бывший вор, а после полицай в Ровно, попытался заставить С. мыть вне очереди полы. С. крикнул на него: “Смирно! Ты разговариваешь с офицером вспомогательной полиции! Кругом! Пошел вон!” И зэк Гурченко повиновался... Зэк Серебряков пользуется авторитетом в бригаде...»

— А мог бы этот полицай дать ему по морде?

— Обязан был! И не по роже, а топором по башке, — уверенно, с расстановкой пояснила тетя Люся. — А так — потерял авторитет, стал почти «опущенным». Знаете ведь, что это такое?

Лейтенант Тамара кивнула.

— Так вот, — продолжала умудренная старшина, — Барон завоевал уважение, взял полицая «на бас». И другие поучились. Знаете, древние китайцы тоже не верили, что можно учить без битья. Даже в состав иероглифа, который обозначает слово «школа», включены розги...

Галеева удивленно приподняла брови, но по крепко привитой служебной привычке переспросить тетю Люсю о том, где она учила китайский язык, не решилась...

А дама-старшина продолжала:

— Видите вот это треугольник? Это значит, что он получал сначала тюремный паек как малолетка по шкале питания.

— Это много или мало?

— Для двенадцатилетнего заключенного... ведь и такие были... это вполне прилично. В день 400 граммов хлеба, 25 сахара, 100 — каши, 170 — рыбы, 50 — мяса, 500 овощей... Это вообще на третьем месте — после пайка ИТР и «стахановского». Еще там жиры, масло. Овощей — больше всех: 200 граммов в день. Но парню в семнадцать с половиной лет — это все же мало. Тем более никто ему посылок не подгонял, денег у него сперва на личном счету не было... Голодно, одним словом.

— Это администрация придумала такую шкалу питания для нарушителей дисциплины, да? — понимающе поинтересовалась Тома. — А я в прошлом году читала в «Новом мире» один рассказ... как его... про один день Ивана...

— Солженицына? «Один день Ивана Денисовича»? Читали, читали.

— Но ведь то писатель придумал...

— Какой писатель? Солженицын? Да он же восемь лет зэком был.

Лейтенант Галеева этой подробности не знала.

— Вы шутите, тетя Люся? Его же, я читала, на Ленинскую премию выдвинули. Как же можно?

— Можно, у нас в стране все можно. А про еду в зоне... При чем здесь администрация? Эту шкалу придумал зэк. Заключенный на Беломорканале Нафталий Френкель в 26-м году.

— Нафталий... Нафталий? — Что-то знакомое померещилось лейтенанту в редчайшем имени.

— Ну да. Он после освобождения стал заместителем начальника Беломора, а сейчас генерал у нас. Вспомнили? — спокойно спросила Людмила Александровна.

— В экономическом?

— Ага... А вот — смотрите! — неприметные буквы «АТ». Они никак впрямую не переводятся. Но любой опер знает, что так метят сексотов. Вот ему разрешают и пользоваться лагерным ларьком. Хороший опер Беляев!

Пожилая дама, в удовольствии от прочитанного, ударила ребром ладони по столу так, что ее слушательница подпрыгнула на стуле.

— Почему, Людмила Александровна? — испуганно спросила девушка.

— А он задним числом приклеил вот эту бумажку из Госбанка, что при аресте у Барона отобрали 12 тысяч имперских марок. Какое-то время и это было валютой во всех оккупационных зонах Германии. Это он таким образом закамуфлировал на-

личие у Серебрякова денег на лицевом счету. Следовательно, Госбанк как бы валюту учел, перевел в рубли и зачислил за зэком. Далеко смотрел лейтенант Беляев! Молодец! Какая у него цифра по статье заключения?.. Ого! 70-я! Самая тяжелая: строгий режим в тюрьме! Знаете все шесть, Тамара?

— Нет, — честно призналась слушательница.

— 62-я — общий режим в лагере, 63-я — усиленный, 64-я — строгий, 65-я — особый режим. А в тюрьме два вида содержания: по 63-й — общий и, как у нашего Барона, — строгий. Так только власовских генералов содержали, больших гестаповцев, троцкистов, замечу, настоящих!

Лейтенант КГБ и тут удержалась от дополнительных вопросов, а уж тем более — от комментариев. Вместо этого она поинтересовалась следующей графической пометкой:

— А вот этот квадратик что значит?

— Это запрещения на продукты. В квадратике какая буква? «Д»?

— «Д», — добросовестно подтвердила Галеева.

— По этому пункту ему запрещалось получать в посылках и покупать в ларьке мясо и мясные консервы, шоколад, цитрусовые... — бормотала старшина из госбезопасности — милейшая, хоть и не очень опрятная в одежде, тетя Люся, — продолжая рассматривать что-то на обложке папки, и, соотнося свои открытия в шифре с соответственными листами дела, что-то бормотала, чмокала, поднимала брови и подхихикивала...

«Какие цитрусовые?! На Магадане? В 49-м? Есть ли они для вольных сейчас?!» — думала с ужасом лейтенант КГБ Тамара Галеева, продолжая мило улыбаться пожилой чекистской ходячей энциклопедии...

Продолжение следует.

Станислав ТАРАСОВ

Станислав Тарасов — выпускник факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Автор сборников рассказов «Кругом воры», «Подозреваю всех», «Аномальная зона» и других.

Три невеселых гуся

Дорогой Роспотребнадзор!

Прошу проверить гражданина Водопьянова, жителя улицы Базарной, дом 51/44, на предмет присвоения и поедания им санкционных гусей.

Вчера вечером я отправился к товарищу на эту улицу и, подходя в сумерках к подъезду, заметил гражданина Водопьянова с мусорным ведром, накрытым целлофановой упаковкой, которая показалась мне крайне подозрительной. Я пошел следом за ним, и когда он отвалил от мусорного бака, тщательно разглядел упаковку. Этикетка была на польском языке! Точно такую показывали в Интернете, когда двумя бульдозерами давили трех невеселых гусей и четыре с половиной килограмма самого дорогого (и, по слухам, самого вкусного) итальянского сыра «Партизан».

У моего товарища мы сидели на кухне за бутылкой самогона, заметьте — до последней капли отечественного! И закусывали залежалым (тоже отечественным!) сырком — на более качественную закусь не наскребли денег. И тут сквозь открытую форточку повеяло таким аппетитным ароматом поджаренного с лучком гуся, что у нас челюсти отвисли. Запах валил из соседней кухни, из квартиры гражданина Водопьянова, кстати сказать, сотрудника нашей Нижнереченской таможни. Блюститель порядка, призванный поставить заслон санкционным продуктам, жрал жареных гусей сам, даже не подумав поделиться с соседями, вынужденными удовлетворять желудки нежелательной пищей.

Я обратился по этому вопросу в полицию, но мне сказали, что у них еще нет бульдозеров, чтобы до мозга костей раздавливать санкционные продукты. И что выявлением предателей родины, поедающих заграничных, отмороженных гусей, занимается наше недремлющее око — Роспотребнадзор.

Я не первый раз сталкиваюсь с такими позорными фактами. В прошлом году сам работал на таможне и как честный работник пытался вывести гражданина Водопьянова на чистую воду, за что меня турнули с таможни как лицо, порочащее высокое, незапятнанное звание российского таможенника.

Прошу привлечь к уголовной ответственности гражданина Водопьянова за присвоение и поедание стратегически важного продукта в виде польских гусей, приравненных нашей спасительницей Думой (согласно ч. 1 ст. 293 УК РФ) к ядовитым и отравляющим веществам, а также оружию массового поражения нашего психически нездорового воображения.

С уважением, И. П. Сероштан

P. S. В случае выявления у гражданина Водопьянова — в холодильнике или дымоходе — контрабандных гусей не вызывайте, пожалуйста, бульдозер на подмогу. Я, Игнатий Петрович Сероштан, обязуюсь самолично уничтожить всех копченых, жареных и даже недоваренных гусей и подтвердить их доподлинную, беспощадную ликвидацию подписями двух свидетелей-вегетарианцев — истинных патриотов нашей родины, не сокрушимой ни еэсовскими, ни американскими, ни турецкими пакостными санкциями.

Как известно осенью прошлого года по почти всей России были переведены часы на час назад. Иными словами Россию загнали в кромешную раннюю темноту, которая будет висеть практически весь год. В частности в Москве она будет висеть с августа по май.

Слов нет какое это очень, мягко говоря, недоразумение.

Мы живем в северной стране и стороне и лета ждем как что-то ниспосланное свыше, как чудо, как манну небесную. А оно обрезано на 120 (и даже больше) часов. Арифметика простейшая: 3 месяца лета по 30 дней=90 дней+май считай тоже лето еще 30 дней. Итого 120 дней по часу. На 120 часов короче лето. А поллета дожди. Что от лета останется? Да практически ничего.

Зато летом в Москве солнце уже в 3 ночи. А в 4 ночи оно уже почти полностью взошедшее. А в других регионах еще раньше восход. Как это называется?

Зачем в Москве солнце в 3 ночи когда все в основном спят (должны спать)? А женщины, которые работают допоздна каково им будет бОльшую часть года по темноте домой возвращаться когда и сумки вырывают и... не только сумки вырывают. От этого чокнуться можно. Какая здесь может быть радость жизни и какой может быть положительный так назвать жизненный настрой?

Ничего хорошего в этом нет окромя плохого настроения, депрессии и злобы.

Всем известно, что все маньяки, педофилы, уличные гоп-стопщики и прочаа погань темным вечером выползают из нор. Стоит почитать интернет.

Все эти сомнологи-хроно-биологи всякие ковальзоны-рапопорты-дороховы-хаснулины и другие весь этот бред выдумали. Так, например, Хаснулин заявил, что якобы все наши беды оттого, что нарушилась вековая «традиция»: люди в 3 часа вставали и шли работать в поле.

Вердикт всему вышенаписаному один: летнее время должно быть возвращено пусть даже как сезонное. И внесите в это дело все что в ваших возможностях. Ради света истины...

*Скардис Молотков**

**Орфография, пунктуация и грамматика оригинала*

Галка ГАЛКИНА:

Дорогой товарищ Молотков! Сигнал принят! Товарищу Рудко-Рудковскому строго наказано разобраться с Хаснулиным и выяснить, на основании какого именно хронотопа и турбуленции сделаны далеко идущие выводы о сползании страны в кромешную тьму?!

С ночными бабочками проведена в ночное время пропедевтическая беседа о вреде венерических заболеваний. В районе Бирюлево-Товарная выявлен, выловлен и изобличен предполагаемый маньяк. На очной ставке оный частично признал свою вину в выкручивании лампочек в подъезде. Ковальзону поставлено на вид с занесением в личное дело. Рапопорт выпорот! Дорохов ради света истины разжалован в управдомы и лишен очередного воинского звания «старший прапорщик».

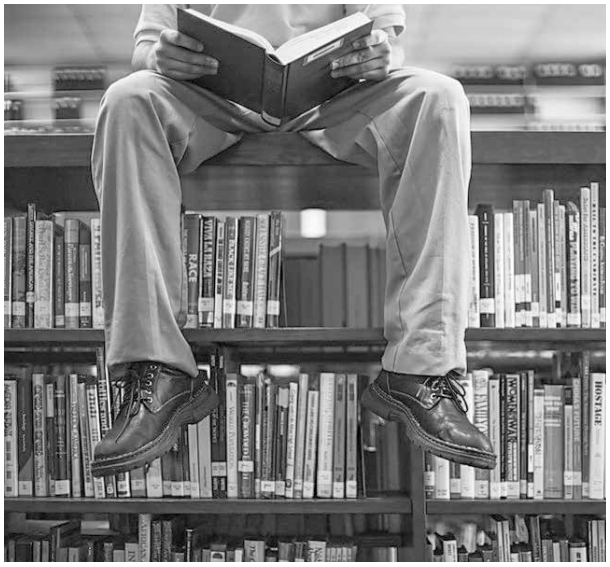
Участковый фельдшер для успокоения нервов советует на голодный желудок принимать рататуй!

Проказник Гео, человек-критик

СМЫСЛОВ СМЫСЛОВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых безвестных литераторов, одновременно являясь литературным власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского края не доехал пока. На этом пока и остановимся.



Проказник Гео, человек-критик

Писатели-деревенщики померли. Все до одного. Это факт неоспоримый. Не прорасти деревенщику в литературу — почва иссохла, потрескалась, а зачастую просто ушла из-под ног. Куда ушла? А в виртуальную, так сказать, реальность. На хрена теперь в деревне жить да корячится, слушая речь своих будущих героев. Это пущай Миша Тарковский в Бахте корячится! В Бахте премии не дают — а в Москве сколько хошь премий энтих. Смешал Распутина с Абрамовым, подсолил Беловым — вот тебе и книжка готова! Как бы жизнь, как бы книжка, как бы деревенская проза — важно, чтобы премии настоящими были! Стилизуй и не кашляй! Стилизаторы затопили нашу словесность! Чем? А вот чем.

Роман Сенчин. Зона затопления

Почти не было в Пылеве изб — а их, жилых, оставалось около сотни, — где бы как-то ни готовились к завтрашним похоронам, поминкам...

...Молчали, слушая, как, упав в живот, водка начинает разбегаться по телу горячими искорками. Задышалось легче, кровь посвежела... Вот искорки добрались до головы, вспыхнули, осветив что-то важное там, в мозгу, и погасли. И длившееся несколько мгновений не опьянение даже, а это странное состояние острого ощущения жизни, своего организма исчезло. Кровь вновь потекла медленно и натужно, грудь опять залила никотинная мокрота, что-то важное в мозгу спряталось в сумрак, и захотелось повторить — пустить в себя еще стопочку.

Проказник Гео:

Так я и не усек: были в Пылеве избы или не были? Или считаются только те, которые к поминкам готовились? А все остальные — не избы? Или не готовились?

Или как?

Как хронический алкоголик со всей ответственностью заявляю: водка в живот не падает. Она может упасть на живот, ежели ты, к примеру, стакан мимо рта пронес. Что-то важное в мозгу Романа Сенчина так и не возникает по причине косноязычия. Потому как и он сам вряд ли понимает то, что написал. А другие и подавно.

Тут, конечно, возникает важный момент — состояние автора в момент написания сего опуса. Ежели он, к примеру, пустил в себя стопочку, а то и не одну, тогда спрос не с него. А с редактора, который эту галиматью печатает.

Автор ведь — человек подневольный. Он пишет, потому что премии дают. А премии дают, потому что литпроцесс застопорился. Иными словами, стопочка не в то горло пошла.

А все подумали, что у него, мол, стиль такой, своеобычный. А он и лыка не вяжет. Хотя вроде бы и Роман!